



18+

# Алексей Моторов

Шестая койка  
и другие истории  
из жизни Паровозова

CoRpus

Русский Corpus

Алексей Моторов

**Шестая койка и другие  
истории из жизни Паровозова**

«Corpus (АСТ)»

2009-2020

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Моторов А. М.**

Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова /  
А. М. Моторов — «Corpus (АСТ)», 2009-2020 — (Русский  
Corpus)

ISBN 978-5-17-137213-2

“Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова” — долгожданная третья книга Алексея Моторова, автора знаменитых воспоминаний о работе в московских больницах на излете советских времен. Первая его книга “Юные годы медбрата Паровозова” стала бестселлером и принесла писателю-дебютанту Приз читательских симпатий литературной премии “НОС”. Затем последовало не менее успешное “Преступление доктора Паровозова” — продолжение приключений бывшего медбрата, теперь уже дипломированного хирурга, работающего в Москве в дни октябрьского путча 1993-го. В “Шестой койке” Алексей Моторов, мастер безумных и парадоксальных сюжетов, вспоминает яркие моменты своей жизни, начиная с самого раннего детства. В свойственной ему неподражаемой манере он рассказывает о себе и своей семье, о взрослении на фоне брежневского застоя, о событиях недавнего прошлого и, как всегда, веселит читателя невероятными, но подлинными случаями из повседневного больничного быта. И, конечно, здесь снова действует незабываемый медбрат Паровозов собственной персоной.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-137213-2

© Моторов А. М., 2009-2020

© Corpus (ACT), 2009-2020

## Содержание

Шестая койка	7
Петушок на палочке	14
Давай еще подождем	21
Свободу Луису Корвалану!	42
Отражение в зеркале	49
Единичка	55
Сертификат с желтой полосой	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

# **Алексей Моторов**

## **Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова**

© А. Моторов, 2021

© А. Бондаренко, оформление, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

*Светлой памяти Виллена Кандрора*

*В прежнее время книги писали писатели, а читали читатели.  
Теперь книги пишут читатели и не читает никто.  
Оскар Уайльд*

## Шестая койка

Когда издательство затеяло переиздать моих двух «Паровозовых», было решено выпустить их в новых обложках, уже в третий раз. Это чтоб и мне стало казаться, будто у меня не две книжки, а полдюжины. А на обложки придумали поместить мои фотографии того времени, о котором идет речь в повествовании.

Фотографии той поры у меня были. Немного, десяток-полтора. Их сделал в начале восьмидесят третьего мой друг Ванька Романов. Он тоже работал медбратом, мы с ним одновременно пришли в реанимацию, как только окончили училище при Первом меде. Но если я туда попал случайно, можно сказать – сдуру, подав документы в училище после первого провала в институт, то Ванька ни о каком врачебном поприще даже и не помышлял. Просто решил стать медбратом, безо всяких дальнейших перспектив.

Он происходил из церковной семьи, что по тем временам казалось делом удивительным. Отец его был ктитором храма в Сокольниках, дядя имел приход в Литве, а брат Колька зарабатывал на хлеб в качестве референта иностранного отдела Московской патриархии.

Жили они так, что не снилось никаким профессорам, народным артистам и даже фарцовщикам. Огромная квартира на Фрунзенской набережной, дача с двумя бассейнами, баней и бильярдом, а машины они меняли чаще, чем обычные люди ботинки.

Несмотря на это, Иван был парнем скромным, достаток не демонстрировал, лишь изредка позволял себе то на отцовских «жигулях» на работу приехать, то заявиться в канадской дубленке брата Коли.

Вот и тогда он притащил на субботнее дежурство какой-то диковинный фотоаппарат, хромированный, тяжелый, с большим объективом, затвор у которого спускался с солидным жужжанием.

Вечером как нельзя кстати нашлась свободная минутка, и мы давай фотографироваться. Молодые, бестолковые, нам тогда еще и двадцати не было. Поэтому все больше рожи строили, дурака валяли.

Альбом обнаружился в нижней тумбе шкафа, в самом дальнем ряду. Вот они, эти фотографии, стандартного формата, черно-белые. Я позирую на больничном фоне, под белым халатом угадывается хирургическая форма. Все как по заказу. Там же нашлись фотографии институтской поры и времен работы в Первой градской, как раз на вторую книжку, где заглавный персонаж уже малость постарше. Минут за пять я их отсканировал и скопом отослал художнику издательства Андрею Бондаренко.

Тот уже ближе к ночи ответил, что для первой книжки вполне сойдет фотография, где я сижу на полу около койки. А для второй, по мнению Бондаренко, самая лучшая та, где забытый ныне фотограф подловил меня у кафедры оперативной хирургии, с папироской во рту, но подобное безобразие не пропустит цензура, так как содержит открытую демонстрацию курения табака, что нынче является абсолютно недопустимым, почти как призыв к свержению власти.

Поэтому над второй книжкой Бондаренко еще будет думать, а фотографию для первой он с чистым сердцем завтра же предложит издательству.

Уже попрощавшись, я вдруг решил внимательно разглядеть выбранную им фотографию во всех подробностях.

На ней я запечатлен сидящим в проходе между столом и четвертой койкой в первом блоке нашей реанимации, рука подпирает щеку. Вид у меня несколько уставший, немного печальный, чтобы не сказать – жалобный. На столе угадываются какие-то бумаги, пузырек дешевого клея и настольная лампа. За мной стоит аппарат для искусственной вентиляции легких модели РО-6,

и если приглядеться, то можно увидеть, что ручка регулятора объема у него приспособлена к пластиковой шкале крест-накрест пластырем.

Я тут же вспомнил этот аппарат – с удивительным постоянством я фиксировал всякую ерунду, на долгие годы накрепко врезающуюся в мозг. У этого аппарата действительно во время работы регулятор объема медленно смещался с каждым дыхательным циклом, и чтоб он не сползал на максимум, его приходилось крепить подручными средствами.

Затем всплыла фамилия больного, что в то дежурство лежал на первой койке, – Мельников. Мельников накануне получил ножом в сердце во время драки на рабочем месте в инструментальном цеху. То, что на заводах нравы суровые, я убедился за месяц школьной практики в качестве токаря на заводе ЗИЛ.

Мельникова привезли вовремя, моментально взяли на стол, заштопали, по части хирургии там был полный порядок, но из-за недостатка кислорода по причине массивной кровопотери у него пострадал мозг. И он, скорее всего на время, ну а может, и навсегда, превратился в полного дурачка. Лежал и сутки напролет распевал матерные частушки, так что к вечеру мы выучили их наизусть и даже подпевали про себя:

По болоту ходят утки,  
Серенькие, крякают.  
Мою милую ебут,  
Только серьги брякают.

Когда мы утомлялись от этого вокала, то кололи ему седуксен, и на пару часов наступала тишина. Жена Мельникова очень жалела мужа, она была женщиной простой, со своими представлениями о реабилитации в послеоперационном периоде, поэтому нажарила ему полный таз котлет и торжественно вручила их мне в часы приема передач.

– Вы уж там проследите, чтоб Петя все съел, – попросила она, заглядывая мне в лицо, – а то загнетса мужик от вашей шамовки больничной.

Мы с Ваней честно, маленькими кусочками, пытались кормить Петю, но тот, еще не отошедший от последствий недавней поножовщины, быстро утомился, насытившись всего-навсего половинкой котлеты.

Котлеты были такие красивые и источали такой умопомрачительный аромат, что мы недолго сопротивлялись искушению. Вечно сытый Ваня съел две, а я четыре. А потом мы эту огромную миску в холодильник затолкали, совесть все-таки надо иметь.

Это было в субботу, а в понедельник Мельникова перевели в отделение. Его катили на хромированной финской койке, в ногах у него стояла эта миска с котлетами, и он распевал во всю глотку:

Пароход плывет по Волге,  
Трубы зеленеются,  
Девки едут без билетов,  
На пизду надеются!

Санитары отводили глаза, мол, мы здесь совершенно ни при чем, а с дурака спрос невелик.

Да бог с ним, с этим Петей Мельниковым, хотя его слабоумие было и занятым. В это время на противоположном конце блока, на шестой койке, лежал другой человек.

Скорая доставила ее поздним вечером в канун Нового года. Это было не традиционное поступление с улицы, а перевод из другой больницы. Но переводы происходят днем, а тут



прикатали на ночь глядя, да еще без предварительного согласования. Бригада пояснила, что в той больнице, куда она поступила позавчера, нет нейрохирургии, а у нас имеется. Поэтому решили везти сюда, ведь кроме изолированной черепномозговой ничего не нашли, вот нашим нейрохирургам и разбираться.

Все понятно. Пошли вторые сутки после госпитализации, она помирает, и тому стационару неохота летальностью показатели портить, вот и решили пациентку сбegrить, пока не поздно.

А то, что она помирает, было ясно уже при первом на нее взгляде. Лежала серая, с разбитым в кашу лицом, на каком-то грязном одеяле и дышала через раз. А когда в машине измерили давление, а там меньше восьмидесяти в систоле и брадикардия, сомнений и вовсе не осталось.

Как обычно, вяло поругали скорую. Что же вы в таком состоянии везете больную с другого конца города и ничего во время транспортировки не предпринимаете? Хоть бы для понта банку какую прокапали, вы ж не таксисты. А у них стандартный ответ наготове, будто все они одну методичку читают. Мы, говорят, собирались и капать, и колоть, но так торопились, так спешили, что не успели. Им ведь действительно – только бы довезти. Таксисты и есть.

Перед тем как рвануть в ночь на своей кибитке, они сообщили на посошок, что, по их данным, девушку случайно обнаружили на дороге, по всему видно, что ее сбила машина, скорее всего грузовик, от удара она пролетела несколько метров, врезавшись головой в бордюр, а машина конечно же умчалась, найди ее теперь, да и искать никто не будет, это ж ведь не кино.

Мы ее принимали с доктором Мазурком. Он был комсоргом нашего отделения и все время пытался сделать из меня человека. Подлавливал в укромном месте и начинал:

– Леха, – спрашивал он устало, – ты ведь комсомолец?

Я обреченно кивал, понимая, куда он клонит.

– А знаешь ли ты, – продолжал Мазурок, – кто может считаться комсомольцем?

– Каждый субъект, достигший половой зрелости, Юрий Владимирович! – пытался безуспешно острить я. – И уж особенно тот, кто в состоянии запомнить, сколько орденов у Ленинского комсомола.

Про ордена у комсомола – это был любимый вопрос во всех райкомах на собеседованиях для вступающих в ряды ВЛКСМ. И что орденов этих шесть, знали все, включая совсем уж безнадежных олигофренов.

– Нет, Леха! – вовсе не собираясь поддаваться на мои провокации, торжественно объявлял Юрий Владимирович. – Комсомольцем может считаться тот, кто признает устав и вовремя платит членские взносы!

После чего следовал традиционный вопрос:

– Ты взносы платить собираешься?

Собственно, ради этого все и устраивалось.

Ну и под занавес, получив от меня заверения, что взносы мной будут уплачены в ближайшее время, повеселевший Мазурок обычно советовал:

– Да! Чем дурака валять, ты бы лучше физику учил, Леха!

Какой уж тут дурака валять при таком графике. А насчет физики – это правда. Я из-за этой проклятой физики к тому времени уже третий раз в институт пролетал.

Вот с Мазурком мы и колдовали полночи над этой девушкой. Она толком уже не дышала, сразу на аппарат загремела. Как только ее эти деятели со скорой довели без интубации – непонятно.

Мазурок тогда стал у нее и лечащим врачом. Юрий Владимирович являл собой редчайший пример комсорга, но при этом хорошего и грамотного доктора. В этом смысле Наташе – так звали эту девушку – повезло. А в остальном дела там были совсем кислые. Тяжелейший ушиб мозга, кома. Ни сознания, ни дыхания, ни движения.

Нейрохирурги разводили руками, внутримозговых гематом там не оказалось, оперировать было нечего.

Ее положили в первом блоке на шестую койку, вели консервативно, лечили, не халтурили, но без особых надежд. Хотя она была молодая, всего девятнадцать, мне тогдашнему ровесница, мы-то знали и видели, как и у молодых заканчиваются такие травмы. Если и отек мозга не доконает, так кроме этого есть еще и пневмония, пролежни, сепсис.

Шло время. Она не умирала, но и не улучшалась. Лежала горячая как печка. При тяжелых травмах мозга температура шпарит из-за повреждения центральных структур, и такую температуру ничем не сбить.

А еще к ней приходила мама. Вернее, не совсем к ней. Тогда в реанимацию не пускали. Все контакты были в холле у дверей отделения. Поэтому она не видела свою дочь, а лишь четко являлась к часу дня, беседовала с Мазурком и приносила передачи. Каждый день. Неизменно приветливая и в ровном настроении. Это бывает далеко не всегда, чтобы родственники приходили каждый день. Да. Многие не знают, но пациентов в реанимации навещают ежедневно не так часто, как представляется. Некоторых совсем редко. А иных и вовсе никогда.

Я всегда безошибочно определял, как к тому или иному нашему больному относятся домашние, стоило мне открыть тумбочку, лишь по виду передач.

Передачи, что приносила мама Наташи, были на загляденье. Все бутылочки и баночки разложены, упакованы, подписаны. Что вводить в зонд на завтрак, что на обед, а что на ужин.

И там, в каждой передаче, всякий раз лежал маленький пакет. Точнее, бумажный кулек. К нему черной аптечной резинкой был прикреплен листочек. Половинка страницы из тетради в клетку. И несколько слов ровным красивым почерком.

*Уважаемые медики. Большое спасибо за заботу о моей дочери Наташе.  
Это вам к чаю.*

За все эти долгие дни и недели текст не менялся.

В кулке были конфеты. «Мишки», «Белочки». Немного, граммов двести. Как раз на нашу сестринскую бригаду.

Каждый день. Каждый день кулек с этой запиской. И на каждом дежурстве, к каждому вечернему чаепитию мы вытряхивали эти конфеты на блюдце. И я видел, как кто-нибудь из сестер нет-нет да и смахнет слезу.

А ведь те, кто работают в реанимации, они далеко не сентиментальные люди. И чтобы их проняло, это надо постараться. Но у нее, у мамы этой Наташи, получилось. И дело вовсе не в конфетах.

Сами того не замечая, мы стали чаще к ней подходить. Чаще перестилать. Чаще крутить, вертеть, переворачивая с боку на бок. Устраивали ей мытье головы, даже в ванной купали, двое поддерживали на простыне, а так как она не дышала, еще кто-нибудь один проводил вентиляцию с помощью специального мешка. За несколько месяцев комы у нее не появилось ни единого пролежня, и это в отсутствие санитаров.

Однако все понимали, что шансов немного. И Мазурок всякий раз говорил матери, что вероятность положительного исхода невелика. Но та будто и не слышала, все так же являлась к часу дня для беседы, и кулек с запиской был в каждой передаче.

Когда к концу третьего месяца Наташа пошевелила пальцем, то матери говорить не стали, боясь обнадежить. Может, это какие-то остаточные рефлексы или судорога.

Еще через неделю появились отчетливые движения в правой руке. Спустя три дня она стала приоткрывать глаза на окрик. А еще через неделю стала сопротивляться аппарату. Задыхалась сама.

Но порой выход из комы после такой травмы – это еще ничего не значит. Можно начать дышать, даже ходить, но остаться растением. На всю отмеренную жизнь. Сколько мы выпустили таких. Лежат, уставившись в потолок невидящими глазами.

Я подтаскивал к ее койке стул, садился рядом, вкладывал руку в ладонь и приказывал:

– Пожми руку!

И чувствовал, как она своей теплой слабой кистью пытается сжать мои пальцы.

Чтобы исключить бессознательное, говорил:

– Пожми два раза!

Замирая, ждал. И она пожимала. Раз. И через секунду другой.

Сердце мое тут же ускоряло бег. Значит, не растение. Значит, есть надежда. Я не уходил сразу, сидел еще несколько минут и просто смотрел.

В день, когда ее решили отключить от аппарата, у ее койки собралось все отделение, даже буфетчица и сестра-хозяйка.

Мазурок сам вытащил ей трахеостомическую трубу и громко спросил:

– Как зовут тебя?

И она просипела:

– Наташа!

Кто-то из сотрудниц заревел, размазывая слезы.

– Как дела у тебя, Наташа?

Та обвела всю нашу толпу мутным еще взглядом и вдруг произнесла:

– Я беременна.

Тут все дружно засмеялись, стали хлопать Мазурка по спине:

– Ну Юрка, ну молодец, и лечишь хорошо, и времени зря не теряешь!

А тот смущенно махал рукой:

– Да ну вас, придурки!

А потом отправился в холл, где за дверями ждала ее мать.

Сегодня для нее хорошие новости.

Мы решили держать ее у себя подольше. Передержали лишних пару недель. Тех, кто так тяжело достался, не спешили переводить в отделение.

Было уже лето, я дежурил по второму блоку, когда со стороны холла раздался звонок. Раньше там у нас были двери из толстого стекла, к Олимпиаде на них даже нарисовали красивую эмблему «Москва-80», но стекла быстро разнесли каталками, оказалось, что они хоть и толстые, но бьются в мелкую крошку. Поэтому установили обычные деревянные двери, покрасили их белым и приладили звонок.

За дверью стояла мама Наташи.

– Ой, Леша! Как хорошо, что вы сегодня дежурите! – Она знала всех нас по именам, выучила за все те месяцы. – Наташа сегодня хотела зайти, сказать спасибо. Нас в пятницу выписывают. Домой идем. Я сейчас только поднимусь за ней в отделение, мы минут через десять будем, ладно?

Почему-то я страшно разволновался. Просто места себе не находил. Наверное, потому что не видел Наташу с того дня, как ее отправили долечиваться в нейрохирургию. А еще потому, что наши больные очень редко приходят сказать спасибо. Мы почти никого их не видим после перевода. А когда случайно встречаемся в коридорах отделений, то не узнаем друг друга.

Я сбегал в гараж, судорожно перекурил и принялся ждать.

Закатное солнце сквозь окна било в глаза, и когда они показались в дверях, у меня не получилось сразу разглядеть Наташино лицо, только силуэт, хотя я тут же отметил, что она идет сама, легко и без поддержки.

Потом, когда рассмотрел, то в первое мгновение даже дыхание перехватило. Как-то из-за всего вместе. А девочкой она оказалась очень красивой, ладной, стройной. В розовых брючках и полосатой футболке.

Нет, я бы никогда ее не узнал. Когда она у нас лежала, отекая, опухшая, с ободранным об асфальт лицом, там даже возраст трудно было разобрать.

Она первой протянула руку и пожала мне пальцы. Сильнее, чем тогда, при первых проблесках сознания. И так же, как тогда, у меня заколотилось сердце и пересохло во рту, хотя это было обычное приветствие.

Я их усадил в кресла, а сам остался стоять. Разговор поначалу не клеился, выскакивали первые, какие-то неловкие слова, к тому же я стеснялся глаза на нее поднять. Ведь мы чего только с ней не делали за это время, а тут такая! Она вдруг спросила:

– Много со мной было возни?

И я почему-то соврал:

– Да нет, ерунда!

Чуть позже, когда мы уже расслабились, разговорились, я заставил ее развязать косынку и полюбовался шрамом от трахеостомы. Нормально мы с Мазурком сработали, а то иногда смотреть страшно. Заметил, что плохо еще слушаются пальцы левой руки.

– Я, как только вижу своего инструктора по ЛФК, вернее, ее красные брюки в конце коридора, – с легкой улыбкой сообщила мне Наташа, – сразу пытаюсь удрать куда-нибудь, забиться, спрятаться, так больно эту руку разрабатывать.

Мы еще немного поговорили. Под конец я настолько осмелел, что спросил:

– Слушай, а почему ты, когда очнулась, сказала, что беременна?

Тут они обе переглянулись и засмеялись.

– Неужели так сказала?

Я подтвердил.

– Мы живем напротив роддома. И я часто смотрю, как там под окнами орут новоиспеченные папаши, как приезжают наряженные машины, как забирают мам с детьми, – стала объяснять она. – И часто я думала, настанет ли такой день, когда я буду лежать в этом роддоме и смотреть уже оттуда на окна нашей квартиры. А когда очнулась после какого-то странного тяжелого сна без снов и увидела вокруг людей в белых халатах, то, видимо, решила, что пришел этот самый момент.

За все время разговора мать не произнесла ни слова. Не отрываясь, смотрела на свою дочь и улыбалась. Уже надо было прощаться, я решил их проводить по лестнице до выхода на первый этаж. Пока мы преодолевали эти три десятка ступенек, я вдруг почувствовал, что не узнал что-то очень важное. И тут понял, что именно. В дверях придержал мать за руку и спросил:

– Вы кем работаете?

– Медсестрой! – ответила она. – Я всю жизнь медсестрой работаю. Раньше в больнице, сейчас в поликлинике.

Вот оно что. Она знала, от кого тут все зависит. Понимала цену лишней секунды внимания. И я сказал:

– Спасибо вам большое!

Она взглянула удивленно, ничего не ответила и поспешила за дочерью, та уже подходила к лифту. Розовые брючки и футболка в полоску.

Больше я их никогда не видел.

Утром я ехал домой и впервые за долгое время ощущал не апатию и опустошенность, столь обычные после бессонного дежурства, а странное умиротворение. Настолько явное, что даже подумал – может, не такая уж страшная ошибка эта моя нынешняя работа. Да и в институт поступлю, мне бы только физику сдать. Все еще будет. Все не напрасно.

Книжка вышла с той самой фотографией. И теперь всякий раз, когда я смотрю на обложку, то думаю о тех нескольких словах на листочках в клетку и женщине, что много месяцев, день за днем, отвоевывала свою дочь у смерти.

Шестая койка, где лежала Наташа, в кадр не попала, но я знаю, что мне, тому, что на фотографии, сидящему между кроватью и столом, достаточно подняться, сделать несколько шагов и коснуться ее рукой.

*Москва, апрель 2019*

## Петушок на палочке

*Анастасии Бардиной*

– Я вам уже сто раз говорила, мамаша, с такими миндалинами он так и будет всю дорогу болеть! – сердито сказала тетя врач и бросила свою дурацкую железку в белую кривую миску, отчего там противно звякнуло. – Удалять и даже не думать!

Мама стояла где-то там, за спиной, я ее не видел. Тетя врач посмотрела на меня и добавила строгим голосом:

– Так, а ну прекрати давиться, я давно закончила!

Я тут же перестал, хотя она закончила не давно, а только что, а эта железка, которой смотрят горло, она такая длинная, целый километр. Дома врачи берут ложечку, от ложечки тоже давишься, но не так сильно. У врачей вообще полно всякого, чем они делают больно. Вот мне Ася, моя двоюродная сестра, еще давно рассказывала про шприц и показывала его на картинке. На шприц надевают иголку и колют этой иголкой того, кто заболел.

Ася тогда спросила:

– Если болеешь, зачем же еще иголкой колоть? От этого же только хуже будет.

И правда непонятно. Еще у врачей есть пинцеты, такой пинцет лежит у деда Яши в ящике стола. Пинцетом вырывают зубы, когда они болят. Это тоже Ася рассказала. Ася умная, она все на свете знает.

У тети врача целая куча инструментов. Вот они, рядом, на белой тряпочке. Я стараюсь туда не смотреть, но голова сама поворачивается. И длинные есть железки, и с маленьким зеркальцем на конце, и разные кривые иголки, и короткие трубочки, мне одной такой только что уши смотрели, больно не было, только в ушах стало холодно. Еще есть всякие блестящие гнутые ножницы, маленькие ножички и маленькие ложки с толстыми-претолстыми ручками. Но больше всего я боюсь такой страшной штуки, она с одного конца как ножницы, а с другого – как щипцы, когда на нее смотрю, у меня не в ухе, а в животе холодно становится.

Нет, все-таки лучше болеть дома и никуда не ходить. В поликлинике, кроме картинок на стенах, нет ничего интересного. Я люблю эти картинки разглядывать, там есть очень страшные. Они ведь чем страшней, тем интереснее. Самые страшные висят в конце коридора, но когда я с бабой Аней, она меня туда не отпускает. Наверное, боится, как бы со мной не случилось то, что с котенком из книжки. Он ночью по лунной дороге отправился на луну, вернулся весь в лунном свете и светился в темноте как лампа. Вот бы мне так.

Но баба Аня сказала, что знать ничего не желает ни про котенка, ни про луну, ни про все остальное. Она меня всегда учит, чтоб я вел себя как послушный мальчик, а то вдруг люди посмотрят на меня и скажут, что я озорник. Вести себя как послушный мальчик – это молчать, не бегать и ничего не трогать.

Сегодня мы здесь с мамой, все потому что баба Аня вчера опять стала жаловаться, какая она старая, как ей со мной тяжело, какой я непослушный, и пусть мама берет отгул. Еще добавила, что скоро умрет и всем на это наплевать, но мама сердится, когда это слышит.

– Ты уже двадцать лет твердишь о своей скорой смерти, смени пластинку.

Но ведь у бабы Ани нет ни пластинок, ни проигрывателя. Она радио любит слушать, никогда его не выключает. Пластинки есть у нас на даче, где мы с бабой Людой, другой моей бабушкой, любим слушать песни Вертинского и разные сказки. Вот из-за того, что мама все перепутала, баба Аня сразу же обиделась и сообщила, что теперь-то уж она точно со мной никуда не пойдет. Баба Аня всегда обижается. Обижается и тут же плачет. Баба Люда обычно говорит:

– Сочувствую, Танечка. Вашей маме что заплакать, что в туалет сходить.

Мне жалко бабу Аню. Тех, кто плачет, всегда жалко. Зато я знаю, кто бабу Аню не жалеет. Тетя Люся – жена дяди Лени, маминого брата. Недавно у бабу Ани день рождения был, и там гости курили, шумели и говорили: «Дай бог тебе здоровья, Анечка, живи до ста лет». Но баба Аня замахала на всех руками и пожаловалась, что, может, даже до зимы не доживет, так себя плохо чувствует. Тетя Люся как раз посуду выносила на кухню и, когда мимо меня проходила, сказала негромко:

– Ты нас еще всех переживешь, ведьма старая!

– Вот что, мамаша, дам я вам направление в Филатовскую. – Тетя врач встала со стула и повернула зеркало с дырочкой у себя на голове. – Лучше ложитесь прямо сейчас, пока жара не наступила.

Я люблю, когда жара. Мы тогда на пруд ходим купаться. У нас на даче пруд есть. Там еще в прошлом году один дядя утонул. Он потом на берегу лежал, не шевелился, все на него смотреть ходили, и мы с Асей тоже.

– Так, держите, мамаша, подпишите у заведующей, печать в регистратуре. – Тетя врач протянула бумажку. – И не затягивайте, а то так и до порока сердца допрыгаетесь.

Прыгать я тоже люблю. У нас в Москве в комнате диван стоит, на нем очень здорово прыгать. Но мама не разрешает на диване прыгать, говорит, что я его продавлю. Наверное, когда с больным горлом прыгаешь, можно себе сердце продавить, и оно перестанет стучать. А если сердце перестает стучать, человек умирает. Это баба Люда нам рассказывала недавно.

Баба Люда много всего нам рассказывает и много всего читает. А больше всего она любит рассказывать про Иисуса Христа и читать писателя Льва Толстого. Еще она любит играть на гитаре и петь песни. А одну песню она даже про меня сочинила и часто ее поет.

Растет у нас сыночек,  
Как во саду цветочек.  
Алешенька хорошенький,  
Как солнца луч пригоженький.

Тетя врач попросила, чтобы мы позвали следующего, мама сказала: «До свидания!», оставила меня в коридоре на лавочке, а сама пошла к заведующей. В коридоре было много людей, и детей, и взрослых, и никто не обращал на меня никакого внимания. Это потому что я сейчас веду себя как послушный мальчик. Молчу, не бегаю и ничего не трогаю, жалко, баба Аня не видит.

Буду сидеть и читать слова на той большой картинке, что висит напротив, хотя я ее уже наизусть знаю.

Там нарисованы дети с лицами как у измятых кукол.

– Жертвы пьяного зачатия! – прочитал я громко.

Сидящая под картинкой некрасивая толстая тетя вздрогнула и, прижав к себе некрасивую толстую девочку, с ужасом уставилась на меня.

– Какая прелесть! – всплеснула руками другая тетя, кудрявая, в очках, и засмеялась. – Боря, Боря, ты только посмотри на этого вундеркинда, он уже читать умеет, надо же!

Она ткнула локтем большого мальчика. Тот тоже был в очках, тоже кудрявый и читал толстую книгу. Мальчик взглянул на меня и снова уткнулся в книжку.

– За жертву пьяного зачатия так это зятю моему спасибо! – сообщила вдруг строгая старушка с палкой. – Таким внуком меня наградил, прости господи!

Рядом с ней сидел мальчик чуть меньше меня, с открытым ртом, из носа у него текли сопли.

Кудрявая тетя посмотрела на него, вздохнула, покачала головой и стала смотреть в книгу своего мальчика.

Тут вернулась мама, а эта кудрявая в очках ее спрашивает:

– Сколько лет вашему сыну?

Мама ей говорит:

– Четыре скоро, через два месяца.

Та удивилась:

– Надо же какой способный, да и вы молодец, научили, а мой Боря только к школе читать начал, зато сейчас все время с книжкой, приходится силой отнимать, зрение себе испортил, вот сидим к окулисту, пришли за рецептом на новые очки.

Подумаешь, я давно читать умею, я еще зимой рассказ «Филипок» сам прочитал. Зимой баба Люда нас с Асей читать учила. Но все обычно хвалят маму, ну и пусть. А очки носить не хочу, те, кто очки носят, все некрасивые.

Мы вышли на улицу, тут мама говорит:

– Отвезу тебя на дачу, а в начале недели снова за тобой приеду.

Я так обрадовался, даже запрыгал. Потому что на даче лучше всего. И хорошо, что мама туда приедет, а то я ее почти не вижу. Я ведь там живу, на даче, и зимой, и летом, в Москву меня редко берут. Конечно, в Москве тоже интересно, в прошлый раз мы в кино пошли, мама с папой и я, где фильм про индейцев показывали, «Чингачгук – Большой Змей». Фильм хороший, там индейцы эти друг в друга маленькими топориками кидаются, только я все время ждал, когда же появится этот большой змей, но так и не дождался.

В троллейбуса мама сказала:

– Тебе скоро горло полечат, зато потом можешь мороженого есть, сколько захочешь! И на юг теперь с нами поедешь, а то тем детям, у кого горло болит, на юг ездить нельзя.

Какой же у меня сегодня день счастливый! И на дачу отвезут, и мама скоро за мной вернется, а когда на Десне будем с дедом Яшей, он около остановки мне мороженое купит, а не только Асе. А еще мы на юг поедem, я, мама и папа. Я знаю, что такое юг, это там, где жарко и растут пальмы с кокосами, как в Тунисе, где тетя Юлия, Асина мама, работала.

Мама приехала на дачу после выходных, даже ночевать не осталась, сказала бабе Люде, что прямо сейчас отвезет меня в Москву, чтобы утром в Филатовской быть. Баба Люда согласилась, что это правильно, и спросила про папу. Мама вздохнула и ответила, что папа ушел в поход на байдарках и будет не скоро. Байдарки – это такие лодки, на которых папа любит плавать по разным рекам. Баба Люда погладила меня по голове, и мы поехали в Москву.

В Москве я захотел посмотреть «Спокойной ночи, малыши!», но мама сказала, что телевизор сломался. Я немного поиграл, но одному, без Аси, играть было неинтересно, и тогда я лег спать.

Утром, когда мы шли в эту Филатовскую, я всю дорогу говорил, как здорово, что мне полечат горло и мы сразу пойдем есть мороженое, только мама почему-то молчала. Потом мы спустились в подземный переход, там стояла какая-то тетя в пестром платке, и, когда мы проходили мимо, она быстро заговорила:

– Купи леденец, красавица, сыну твоему радость будет, да и тебе счастье.

В руках у нее было много леденцов на палочках, но самым лучшим, самым красивым был огромный красный петушок. Я как его увидел, так и остолбенел.

Тут мама дернула меня за руку, сказала, что мы и так опаздываем, да еще ты встал, но вдруг посмотрела внимательно и спросила:

– Ладно, хочешь, я тебе куплю леденец?

И я ответил шепотом:

– Хочу!

Тогда мама достала кошелек и купила этого большого красного петушка. Тетя протянула его мне и рассмеялась:

– Держи свой гостинец, кареглазый!



Петушок был тяжелый, на толстой деревянной палочке, с большим пышным хвостом и красивым гребешком. Я шел и смотрел только на него, даже не заметил, что мы подошли к какому-то дому. Мама объяснила, что туда с леденцом нельзя и нужно его пока спрятать в сумку.

Мне очень не хотелось с ним расставаться, но я подумал, мы же скоро отсюда выйдем, отправимся есть мороженое, мама сразу мне отдаст петушка, и тогда все люди будут идти и смотреть на него, такого красивого. А есть я его не буду, отвезу на дачу и обязательно поделюсь с Асей.

Внутри того дома, куда мы пришли, люди очень быстро ходили туда-сюда. Мама стала у всех спрашивать, куда идти, но сначала никто не знал. Потом кто-то объяснил, что нам нужно в приемный покой. Мне показались очень смешными эти слова – «приемный покой». Когда мы его нашли, этот приемный покой, там были две тети. Одна сидела за столом, а другая стояла рядом. Та, которая сидела, спросила, есть ли у нас направление, и когда мама стала искать его в сумке, я постарался разглядеть там моего петушка, но тут мама сумку закрыла.

Тетя взяла у мамы какую-то бумажку, прочитала и сказала другой, что меня можно отправлять. Мы зашли с этой другой в соседнюю комнату, где она велела снять одежду, потом надела на меня чужие синие штаны, белую рубашку и повела по очень длинному коридору.

А я все время оборачивался, ведь нужно маму подождать, но тетя крепко держала меня за руку и все приговаривала:

– Иди, иди, не крути головой.

Когда мы поднялись по лестнице, тетя стала звонить в дверь. Нам так долго не открывали, что она даже удивилась:

– Спят они там все, что ли?

А я все стоял, оглядывался, ждал, что вот-вот мама покажется, но тут дверь открылась, там стояла новая тетя, и она сказала:

– Чего застыл, проходи.

Внутри было шумно от голосов, как в детском саду, меня туда водили всего неделю, потом я начал болеть и снова на дачу вернулся. Может, это такой детский сад?

Тетя посмотрела на меня и спросила:

– Ну что, долго здесь стоять собираешься? Иди за мной, палату покажу.

Мы пришли в огромную комнату, где бегало много детей и стояло много кроватей. Тетя показала пальцем:

– Вот твоя кровать, вот горшок, веди себя хорошо, а то влетит.

Я знал, что вести себя хорошо – не бегать, ничего не трогать и молчать, но все-таки спросил: а где же моя мама?

Она рассердилась и даже закричала:

– Придет, придет твоя мама, вот пристал, мне давно пора белье получать, а я тут сопли вам подтираю!

Подошли две девочки, большие, старше Аси, им, может, целых шесть лет или даже шесть с половиной. Они сначала просто смотрели на меня, и одна спросила:

– Тебя что, на операцию положили?

Какую еще такую операцию, путают они что-то.

– Нет, мне горло тут полечат, и я пойду с мамой мороженое есть.

А вторая девочка говорит:

– Понятно, значит, у тебя гланды. Всем, у кого гланды, делают операцию, но ты не бойся, она обязательно с заморозкой будет. Тут всем операцию с заморозкой делают.

Мне это совсем не понравилось.

– Нет, я не хочу операцию, не хочу заморозку, я хочу, чтобы мама за мной сейчас пришла, она меня ищет, но никак найти не может.

Первая девочка ко второй повернулась и сказала:

– Ладно, не пугай его! Разве не видишь, он совсем малыш, ничего не понимает, не надо ему про операцию говорить. Я всегда малышкой жалею!

Вторая посмотрела на меня и кивнула:

– Теперь я сама вижу, что малыш, а сначала подумала – он взрослый.

Первая девочка говорит мне:

– Вот что, малыш, хочешь, мы будем о тебе заботиться?

И я ответил:

– Да, хочу.

Тут за мной пришла какая-то тетя, опять новая, девочки ее называли няней. Я няню спросил, нашлась ли моя мама. И няня ответила:

– Нашлась, куда денется.

А сама привела меня не к маме, а в маленькую комнату, где сидели тети врачи. Одна посмотрела мне длинной железкой горло и другой кивнула:

– Давай его на среду, во вторую очередь.

Я их тоже стал спрашивать про маму, и они сказали:

– Увидишь, увидишь ты маму свою, а сейчас ступай обратно.

Окрыли дверь и позвали няню, чтобы она меня в палату отвела. Потом был обед, после обеда всех положили спать, а я не спал, все ждал, когда придет мама. И когда нас подняли, ждал, и когда настал ужин, ждал, даже когда на ночь спать уложили, тоже ждал.

На следующий день мама опять не пришла. Я все смотрел и смотрел на дверь, представлял, как она войдет, скажет, что заблудилась, что искала меня днем и ночью, но теперь нашла, и мы с ней пойдем отсюда. А на улице она достанет из сумки моего петушка, и я буду идти, на него любоваться.

Те девочки, которые обо мне заботились, все время говорили, что мама придет, обязательно придет, не переживай.

На третий день, я только проснулся, ко мне подошла няня, сказала, что мне нельзя завтракать и чтоб я сидел на месте, а то ей меня еще искать. Я обрадовался, значит, мама пришла, наконец-то ей меня отдадут.

Я сидел на стуле, сидел долго-долго, пока опять не пришла няня. Она повела меня куда-то по коридору, где в конце была белая дверь, и я подумал, что за этой дверью стоит мама.

Няня приоткрыла дверь и что-то спросила. А я поднял глаза и прочитал надпись большими красными буквами под потолком: ОПЕРАЦИОННАЯ. И сразу понял – нет там никакой мамы. Понял, что за этими дверями и делают ту самую операцию, которой меня тут все время пугали. И мне стало так страшно, как никогда еще не было.

Из-за двери показалась тетя в белом халате, в белом колпаке и с белой повязкой на лице, у нее только глаза были видны. Она больно взяла меня за плечо и приказала: «Пойдем со мной». Сначала мы вошли в комнату, всю в белой плитке, с умывальниками на стене. В конце комнаты тоже была дверь, и за этой дверью раздавались какие-то странные, очень неприятные звуки. Тетя в белом открыла эту дверь и подтолкнула меня вперед.

Там стояли кресла, много кресел, в которых сидели дети. Над этими детьми стояли врачи с повязками на лицах и что-то с ними такое делали, отчего дети громко стонали, а врачи громко звенели своими инструментами. Когда я проходил мимо первого кресла, то увидел, как у мальчика, который там сидел, врач длинными щипцами достал изо рта огромную липкую кровавую сосиску, а потом бросил ее в таз, и подумал, что этот мальчик, наверное, сейчас умрет. Мне тут же захотелось убежать, но тетя еще сильнее сжала плечо и зашептала прямо в ухо:

– Так, иди не упирайся!

И мы пошли с ней мимо всех этих стонущих детей, мимо тазов, полных кровавых сосисок, мимо застеленных рыжей клеенкой столиков, с которых стекали какие-то темно-красные

сопли, и пришли в самый дальний угол, где стояло пустое черное кресло со страшными желтыми ремнями.

Меня усадили в это кресло, туго привязали руки ремнями и вставили что-то в рот, отчего он перестал закрываться. А когда включили яркий свет, то напротив села незнакомая тетя врач в очках. У нее тоже была повязка на лице, поэтому я видел только ее очки и руки в перчатках, и когда она поднесла руки прямо к моим глазам, я вдруг увидел, что у нее не хватает одного пальца. Она взяла шприц с огромной иглой и этим шприцом и этой страшной рукой без пальца полезла мне в рот. И стала делать мне так больно, что нельзя было терпеть, а кричать я не мог и поэтому застонал точно так же, как и другие дети.

– Лампу поправьте, ни черта не видно! – очень зло сказала тетя врач. – Да еще и шприц течет, не могли нормальный дать?

Она наконец вытащила этот свой шприц искомандовала кому-то:

– Голову держите ему!

Потом она взяла в руку какую-то железку, придвинулась так близко, что я увидел свое отражение в круглом зеркале с дырочкой у нее на голове, и тут у меня в горле что-то захрустело, порвалось, забулькало, и я рванулся, забился, изо всех сил пытаюсь вырваться из этих ремней, из этих сильных рук, державших меня.

Не хочу, не хочу вашего мороженого, не хочу ваш юг, я никогда больше не буду болеть, только отпустите, отпустите, не мучайте меня больше!!!

Я лежал на кровати, а рядом, на соседней, лежала девочка. Она была большая, даже больше тех девочек, которые обо мне заботились. Ее кровать была так близко, что, если протянуть руку, можно было дотронуться. Девочка лежала на спине, смотрела в потолок, а во рту у нее были ножницы. А может, даже и не ножницы, а та страшная штука, которая наполовину ножницы, наполовину щипцы. И эти ножницы были привязаны бинтом, намотанным вокруг ее головы.

Девочка лежала и пела. Я сначала никак не мог поверить, что она поет, и, хоть мне и запретили разговаривать, я шепотом спросил:

– Ты плачешь?

Она помотала головой и произнесла:

– А-а!

Ножницы мешали ей говорить. Я опять спросил:

– А что ты делаешь?

– А-па-у! – ответила девочка и скосила глаза на меня: – Па-у!

– Поешь? – удивился я.

Девочка кивнула и прикрыла глаза.

– И тебе что, – никак не мог поверить я, – совсем не больно?

– А-а! – помотала она головой и опять запела.

Так мы лежали долго, она пела, а я на нее смотрел. Потом пришли две няни, с такой кроватью на колесах, и сказали:

– Ну что, Зоя Космодемьянская, поехали!

И увезли ее куда-то.

А еще через два дня, сразу после завтрака, няня принесла мою одежду и приказала собираться.

Когда я переоделся, одна из тех девочек, которые обо мне заботились, протянула очень красивый цветок:

– Вот, держи! Это анютины глазки, я их для тебя специально на клумбе сорвала, отдай маме своей! Только скажи, чтобы она их в воду поставила, а то завянут. Мы же тебе говорили, что мама за тобой придет, а ты не верил.

Мама стояла на первом этаже вместе с тетей Юлей, что-то ей говорила и улыбалась. Она увидела меня и крикнула:

– Алеша!

Я подошел к ней, выставив вперед руку с цветком:

– Мама, вот тебе цветочек. Он называется анютины глазки. Девочки сказали, нужно обязательно его поставить в воду, чтобы он не завял.

И отправился к выходу на улицу.

Мы ехали в такси, я смотрел в окно, а мама негромко говорила тете Юле:

– Слушай, ничего не понимаю, думала, Алешка ко мне бросится, а он даже глаз не поднимает. Да и голос какой-то у него чужой, тоненький.

А тетя Юля ей отвечала:

– Танька, так бывает. Бывает, что и взрослые от боли и горя свихиваются. А голос – ему же там, наверное, все раскромсали. Да ты не переживай, пройдет.

А я смотрел в окно и все думал о той девочке с ножницами во рту. Куда ее тогда повезли? Что она сейчас делает?

Дома я немного походил по комнатам, полистал книжки, а потом спросил:

– Мама, где мой петушок на палочке?

И мама сказала:

– Знаешь, на твоего петушка кто-то книгу тяжелую положил и раздавил. Пришлось выбросить, от него ведь только крошки остались.

– А палочка? – снова спросил я. – Палочка от него, она где?

– Да и палочку тоже выбросили, – пожала плечами мама. – Зачем тебе эта палочка?

– А куда, – я все никак не мог поверить, – куда ты его выбросила?

– Как куда? – удивилась мама. – В мусоропровод, куда же еще!

Было уже поздно, я долго лежал в кровати, все представлял себе эти блестящие красные крошки, которые остались от самого красивого, самого лучшего, самого дорогого моего петушка. И как их берут и высыпают в мусоропровод. И вдруг я горько заплакал, впервые за эти несколько дней. И плакал долго, пока не уснул.

*Москва, 06.02.2018*

## Давай еще подождем

*Эле Аракеловой*

– Странно! Очень странно! – в который раз за последние три часа произнесла мама. – Ведь обещали же встретить. Она снова стала напряженно вглядываться в раскаленную безлюдную степь.

– Может, у них что-нибудь случилось?

– Может, и случилось! – легко согласился я, хотя меня никто и не спрашивал, мама завела традиционный разговор сама с собой, и влезать было совсем необязательно. Да и потом, к версии, что у них что-то случилось, мама возвращалась с завидным постоянством. Чтобы ей не было одиноко, я тоже начал обозревать пространство в разных направлениях, но все-таки не удержался и вполголоса пробормотал: – А может, и ничего не случилось!

Рельсы уходили куда-то за горизонт, искривляясь в жарком июльском мареве. Интересно, сколько нам еще ждать? У меня скоро мозги закипят.

– Давай еще подождем! – будто услышав мои мысли, предложила мама, видимо тоже сама себе, потому как в мою сторону и не посмотрела. – Не могли же они про нас забыть?

Почему это не могли? Я вот читал в журнале «Вокруг света» про одного человека, его контузило во время войны. Так он вообще все забыл, тридцать лет ничего не мог вспомнить, в том числе и свое имя. Но в прошлом году к нему вдруг память вернулась, он даже указал место на чердаке, где еще школьником свою копилку спрятал.

– Сними рубашку! – вдруг обратив на меня внимание, приказала мама. – Загорай! А то лето скоро кончится, а ты совсем бледный.

Маме всегда хотелось, чтобы я был другим. Не таким, как на самом деле, а былинным богатырем. Неделию назад, едва меня увидела, так сразу расстроилась:

– Эх, Алешка, я-то думала, ты из лагеря высоким приедешь!

Оказалось, племянница ее подруги с майских праздников вымахала на целых восемь сантиметров, а я подкачал, так и не стал великаном с прошлого месяца.

Идея загорать мне совсем не понравилась, наоборот, очень хотелось залезть в тень, укрыться от этого злого солнца, но ни кустика, ни деревца поблизости не наблюдалось. Можно было зайти в маленькое здание вокзала, но мама на это не решалась, боясь разминуться с теми, кто нас должен был встречать.

Минут через двадцать показался товарный состав, он полз еле-еле, лениво перестукивая колесами, как и остальные поезда, что за это время проехали мимо нас. Будто у них у всех батарейки на исходе. Мы проводили его взглядом.

– Ну все, пошли! Не можем же мы тут до ночи торчать! – не успел поезд скрыться из виду, наконец-то решила мама. Она тяжело вздохнула и оторвала от земли чемодан и большую сумку. – Так, не стой! Бери вещи!

Я тоже вздохнул, больше для порядка, надел рюкзак и подхватил ведро, которое с начала нашего путешествия уже успело отбить мне обе ноги.

Когда крышка ведра в очередной раз больно стукнула меня по колену, мама сообщила:

– Только у меня адреса нет!

Другой бы наверняка удивился, но не я. С мамой это вечная история. Вот собираемся мы в гости, мама уже в дверях звонит подруге, сообщает, что выходит.

– Да, Люда, напомни, какая там остановка от метро, седьмая? Этаж пятый, правильно? А квартира – тридцать четыре? Вот видишь, как я все помню. А дом? Какой? Ага, поняла, зеленый, рядом с остановкой. Ну все, жди, скоро будем.

Приезжаем мы, вылезает из троллейбуса, а дело зимой, начало января, и в этом Чертанове мало того что тьма крошечная, вечер, седьмой час, так еще и пурга разыгралась, поди здесь разыщи зеленый дом. Да они в темноте все серые, даже очертания толком не разобрать, лишь окна в них светятся, а там люди за окнами сидят, хорошо им, наверное, тепло, сытно. И тут выясняется, что мама знает все, то есть этаж, номер квартиры, сколько там комнат, какие обои на стенах, книжки в шкафах, какие у подруги телевизор с холодильником. Но про номер дома, как и про название улицы, на которой дом этот стоит, не имеет ни малейшего понятия.

Как говорится, все в жизни бывает, в такой ситуации нужно всего-то разыскать ближайший исправный телефон-автомат, позвонить – и дело с концом, да не тут-то было. Номер телефона в записной книжке, а книжка дома, спрятана в тумбочке. Записную книжку мама с собой никогда не носит по двум причинам. Во-первых, у нее фотографическая память и шпаргалки ей ни к чему, а во-вторых, она очень боится книжку потерять, потому что тогда не сможет никому позвонить, так как телефоны наизусть она не помнит.

Здесь главное – ничего не спрашивать, мама этого очень не любит. Она обязательно скажет, что я только и делаю, что заставляю ее нервничать, да и вообще все это случилось из-за меня, потому что с таким все на свете забудешь, не то что адрес.

Мама с секунду озирается, затем рукой указывает путь куда-то туда, в направлении далеких мерцающих огней, и прямо от остановки отважно устремляется вглубь жилого массива. И мы, увязая в сугробах, в потемках пробираемся по дворам и пустырям, где ветер сбивает с ног, снежное крошево летит в глаза и за шиворот, и в каждом подъезде всех этих одинаковых домов, что попадают на пути, мы поднимаемся на пятый этаж, где мама начинает испуганно обзванивать тридцать четвертые квартиры.

Встревоженным людям, что выбегают на эти лихорадочные звонки, запыхавшаяся мама задает единственный, но сверхважный вопрос:

– Простите, а ваш дом не зеленый?

Пару часов спустя, падая от усталости, обзвонив все тридцать четвертые квартиры в радиусе полутора километров, где никто из местных жителей так и не смог припомнить здания зеленого цвета, смирившись, что больше ничего не остается, кроме как возвращаться домой, мама от отчаяния совершает неожиданный поступок, то есть решается зайти в дом в десяти шагах от той остановки, на которую мы прибыли.

Надо ли говорить, что именно там обнаруживается искомая квартира, накрытый праздничный стол с давно остывшим ужином и потерявшая всякую надежду нас увидеть подруга Люда.

Кстати, дом оказался вовсе не зеленым, а стандартно белым, хотя при ярком солнце действительно с нежно-салатовым оттенком, но главное, как сказала мама, мы его нашли, остальное совершенно не важно.

Вот почему, когда мама сообщила, что она не знает адреса, я и бровью не повел, подумаешь, новости.

Мы посоветовались, наугад выбрали одну из многочисленных дорог, что в разнообразных направлениях пересекали степь, и пошли себе, ковыляя, с нашей поклажей.

А началось все с того, что в начале июня в мамин институт прибыли две практикантки, Таня с Валей. Они были студентками химического техникума города Днепропетровска, откуда их направили в Москву на полтора месяца набираться уму-разуму. Девушки были стройные, глазастые, симпатичные, обеим по восемнадцать. Таня была брюнеткой, Валя – шатенкой. Таня поспокойнее, Валя побойчее.

И все бы хорошо, но почти сразу же выяснилось, что остановиться им негде. Институт был не учебный, а научно-исследовательский, без общежития. Да еще, как назло, в Москве у них ни родни, ни знакомых.

Первую ночь они провели в сквере на лавочке, вторую и третью на вокзале. Тане с Валею такая спартанская жизнь радости не доставила, строгие милиционеры вырастали как из-под земли, грозили штрафом и высылкой из столицы, а ночные лихие хлопцы мало того что приставали с глупостями, так еще и требовали пить с ними вино прямо из бутылки. Девочки приуныли, в гробу они видели такую практику, впору было паковать вещи и возвращаться домой.

– Ой, как же мы забыли! – встрепенулись сотрудники института. – У нас в соседней лаборатории женщина, так она одна живет в трех комнатах. Давайте в перерыв к ней забежим, может, она вас и пустит на квартиру.

Вот так Таня с Валею оказались у нас дома.

Мама была человеком компанейским, с людьми сходилась легко, общение было любимой формой ее досуга. Она тотчас выделила девочкам по комнате и денег с них не взяла. Телефон в новой квартире когда еще установят, я торчал в пионерском лагере, а тут как нельзя кстати две собеседницы, с которыми та же дорога на работу и обратно стала куда веселее. И как у мамы это водилось, очень скоро она стала ходить с Таней и Валею в кино, гулять в Измайловском парке, печь им пироги и покупать вкусное в отделе заказов местного гастронома.

Я увидел Таню с Валею уже под конец их практики, когда вернулся из лагеря. Именно в этот момент мама решила организовать им культурную программу, но прагматичная тихая Таня музеям и выставкам вдруг предпочла центральные магазины, и даже традиционный мамин напор действия не возымел, поэтому к прекрасному приобщились только Валя.

Вместе мы побывали в Останкинском дворце, Музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее и в Московском зоопарке. Больше всего Вале понравился именно зоопарк.

Чтобы она не так уж завидовала Тане, мы отвели Валу в ГУМ, ЦУМ, Военторг и магазин «Ванда», где та накупила подарков родне, да и себя не обидела, обзаведясь польским замшевым поясом, индийской косынкой и гаванской сигарой за шестьдесят копеек. Как объяснила нам Валя, курить крепкое – лучшее средство, когда ломит зубы.

Вечером, совсем уж расстаравшись, мама устроила девушкам прощальный ужин при свечах, в конце которого Валя, раскрасневшись, встала с рюмкой в руке и с чувством произнесла:

– Татьяна Никитична, спасибо вам за все! Теперь и вы приезжайте до нас!

После чего мама, чрезвычайно воодушевившись, принялась выпытывать у Вали, что же такого необыкновенного есть в тех местах, куда ее пригласили сейчас исключительно из вежливости.

Тут необходимо сказать, что у мамы две главные радости в жизни: лес с грибами и речка с берегами.

И если по поводу речки я полностью разделял мамины чувства, то к лесу у меня отношение было не такое уж однозначное.

Дело в том, что мама рассматривала лес как источник пропитания и обожала, не разгибаясь, часами ползать в зарослях, разыскивая грибы-ягоды. Я тоже не чурался этого занятия, но был не столь самоотвержен, чтоб добровольно вставать с петухами, лишь бы быть в лесу первыми. На все мои робкие протесты у мамы был железный аргумент:

– А на Новый год ты грибы есть любишь?

Мне всякий раз хотелось объяснить, что люблю, но не до такой степени, чтоб из-за одного праздничного застолья полмесяца вставать ни свет ни заря и пропахивать километры на карачках, но вместо этого лишь опускал глаза и пожимал плечами.

Короче говоря, мама спросила Валу:

– А речка там есть у вас?

Валя широко развела руками, словно царевна-лебедь крылами:

– Велика ричка Псёл!

Мама невероятно обрадовалась и продолжила:

– А лес? Лес тоже есть?

Валя на секунду задумалась, кивнула и развела руки уже на максимум возможного:  
– А як же! Великий лис!

С той минуты судьба отпуска была решена. Мама стала с жаром утверждать, что если куда и стоит ехать, так это только в те сказочные края. Погода там летом прекрасная, полно овощей и фруктов, а такому, как мне, деревенская жизнь лишь на пользу, я стану крепче, выше, шире, наберусь сил и здоровья перед учебным годом.

На следующий день, провожая Таню с Валею на вокзал, мама там же, при них, купила билеты прямо до места, получила от Вали жаркие заверения, что та нас встретит в определенный день и час, да не одна, вся многочисленная родня прибудет на станцию в честь дорогих гостей. Мы посадили девочек на поезд, помахали рукой и стали интенсивно готовиться к поездке. Два дня носились по магазинам и закупали разную снедь типа конфет, тушенки и селедки в горчичном соусе, а на третий двинулись в путь.

Сначала мы ехали до Курска на каком-то раздолбанном и грязном поезде. Попутчик, дядька с порванной ноздрей, свесившись с полки, кивая на меня, говорил маме:

– Вот почему я никогда не отправлю своего сына в пионерский лагерь! Смотрите, чему его там научили.

Подумаешь! Я всего-то рассказал десяток анекдотов, спел несколько песенок и честно признался, что хотя и курил всю вторую смену, но сейчас уже бросил. Но дядька битый час убеждал маму, что воспитание в коллективе превращает любого нормального ребенка в уголовника, и до конца поездки косился на меня с опаской.

В Курск мы прибыли поздно ночью, посидели там на платформе и через пару часов на другом поезде отправились в город Львов. Оказалось, что тот, первый, который до Курска, был еще очень даже ничего – во всяком случае, там тараканы по людям не ползали.

До Львова мы добрались рано утром и там решили позавтракать, но нам сказали, что буфет закрыт до сентября, пришлось есть конфеты из рюкзака и запивать водой из колонки. Наконец подали поезд до нужного нам полустанка. В который раз мы втащили вещи в тамбур и покатали.

Такой поезд я видел лишь в фильмах про гражданскую войну. Эти деревянные коробки на колесах и поездом-то трудно было назвать. В первых двух поездах хоть туалет был. Состав шел с черепашьей скоростью на юг и постоянно останавливался среди полей, а я все ждал, что на эшелон налетит банда какого-нибудь батеньки Ангела. За это время мама успела объяснить, что путь мы держим туда, где проходит граница между Россией и Украиной. То есть там еще Россия, но говорят все уже по-украински. Но по-украински не так, как бывает на Украине, что невозможно понять, а как Таня с Валею.

Когда мы прибыли на нужную нам станцию, солнце уже стояло в зените. Платформы там не было вовсе, из тамбура пришлось прыгивать прямо на землю. Я не удержал ведро, и оно с грохотом покатило вдоль состава.

– И-ди-от! – по складам сказала мама.

Помимо нас из поезда вылезли две какие-то толстые бабы с огромными мешками. Они закинули поклажу в кузов поджидавшего их трактора, кряхтя и повизгивая, забрались туда сами. Трактор прокашлялся, дернулся, отчего бабы в кузове повалились друг на друга и завизжали с новой силой. Трактор вдруг заглох, но вскоре зафырчал, снова дернулся и поехал куда-то, весело тарахтя.

Никакой Вали, как, впрочем, и многочисленной родни, не обнаружилось. Вокруг нас на многие километры простиралась степь.

– Странно, никого нет! – удивилась мама, секунду помолчала и добавила уверенно: – Ну, ничего, подождем, сейчас они появятся.

Но они так и не появились.



Степь вкусно пахла. Она жужжала, стрекотала и посвистывала на все лады. Пыль на дороге была мягкая, теплая и глубокая, по щиколотку. Если топнуть ногой, она вздымалась красивым облачком. Такую пыль хорошо бы в пакет собрать и сделать бомбочку. Я снял кеды, связал между собой шнурками, повесил их на шею и пошел босиком.

Эх, если бы не это проклятое ведро! Чего я только не пробовал с ним делать! Ташу за ручку – бьет по ноге, несущая на отлете – немеет рука, перехватил двумя руками перед собой – свело живот. А все мама, сдались ей эти грибы. И где она собирается их искать? За те несколько часов, что мы здесь блуждаем, я не то что леса, даже рощицы не заметил. Трава-мурава да редкие поля с сахарной свеклой.

Острова белых хаток были разбросаны тут и там, насколько хватало глаз. По дорогам между селами ездили редкие телеги с цыганами. Лошади от жары шли еле-еле и иногда вставали как вкопанные. Цыгане косили на нас глазом, лениво чмокали губами и дергали за вожжи. Когда телега проезжала, поднятая пыль долго тянулась дымным следом, казалось, будто телега горит. Однажды прогремел грузовик, и пыльный столб взвился на полнеба и висел долго-долго, а мы с мамой тут же стали с ног до головы как известью присыпанные, полчаса потом чихали и кашляли.

В первой же деревне, попавшейся на пути, мама отправилась в сельсовет.

– В таких местах, – уверенно сказала она, – все друг друга знают!

В хате, где висел портрет Ленина, сидели люди с сигарками в зубах и громко разговаривали. Едва мы туда ввалились, они повернулись на звук громящего ведра и с любопытством уставились на нас и на наши вещи.

– Слушаю вас, граждане! – обратился к нам, по-видимому, главный и указал на длинную лавку. – Сидайте!

Мама осталась стоять, а я уселся на ведро. Пусть хоть какой от него прок будет.

– Мы в гости приехали, из Москвы! – начала мама, обращаясь ко всем сразу, включая и Ленина на стене. – Нас встретить обещали, но почему-то не встретили.

При слове «Москва» народ дружно приосанился и обменялся многозначительными взглядами. Наверно, им было приятно, что в их края занесло столичных жителей.

– Так до кого вы приехали? – любезно осведомился главный. – Як звать друзив ваших?

– Валя! Ее Валя зовут! – со всей готовностью сообщила мама. – Девушка, молодая, высокая! В Москве на практике была, в нашем институте! Она еще в техникуме учится, не то в Донецке, не то в Ворошиловграде!

Люди внимательно слушали.

– Не то в Харькове! – уже с некоторым сомнением произнесла мама, но энергично закончила: – В общем, в каком-то химическом техникуме!

И с надеждой посмотрела на людей вокруг.

Те пожали плечами.

– А в якому сели вона живе, ця Валя? – спросил другой мужик, с усами как у Тараса Бульбы. – У нас Валентин богато!

– В каком селе? – повторила мама и, немного замедлившись, продолжила: – Я точно не знаю, но Валя говорила, что недалеко от станции, всего несколько километров.

Люди в сельсовете переглянулись.

– Так у нас в районе сорок сел, – вступил третий мужик, он говорил по-русски почти чисто. – Лучше скажите, как фамилия Вали вашей?

– Ой! Ее фамилия! – Потерла лоб мама и вдруг запнулась. – Фамилия...

Я-то сразу все понял и нервно заерзал на своем ведре.

А они сидели и ждали.

Наконец мама подняла глаза и начала задумчиво перечислять:

– Вот то ли Пакша, то ли Гакша, то ли Бакша...

– Мабуть, Гаркуша? – сочувственно подсказал кто-то. – Ни?

– Нет! – после долгой паузы неуверенно ответила мама. – Не Гаркуша.

– Знаете, – продолжила она, – у нее сестра еще есть младшая, родители.

Но и эти важные сведения не помогли.

Мама еще какое-то время перечисляла возможные варианты Валиной фамилии, но к цели это не приблизило.

Эти люди явно очень хотели нам помочь, они долго перебирали всех им известных Валь, но, как назло, нашей среди них не оказалось.

Валя-горбатая, Валя-вдовая, Валя Шумейко – мать троих хлопчиков, Валя Чумак-косая, Валя Гончар-дурочка и Валя Писарчук-трактористка.

Все эти Валентины не подходили либо по возрасту, либо по внешности, либо по семейному положению. А главное – в Москве из них никто не был отродясь.

И тогда мы поняли, что пора двигаться. Попрощались и отправились дальше.

Та же картина повторялась в каждом селе. Мама сбивчиво объясняла про то, как нас обещали встретить, да не встретили, рассказывала, какая из себя Валя, про ее практику в Москве и учебу в техникуме неизвестного города.

Под занавес маме традиционно говорили, укоризненно покачивая головой: женщина, как же вы ее на квартиру к себе пустили, а фамилию узнать не удосужились? Да еще, сами говорите, полтора месяца работали вместе. А уж ехать в такую даль, не зная ни имени, ни адреса, да еще не одной, а с хлопчиком!

– А я ведь помнила, помнила, – жалобно отвечала мама, – но вот сейчас почему-то раз – и из головы выскочило.

Мама и имена-фамилии – это вообще отдельная тема. Например, моего одноклассника Диму Кончакова она упорно звала Сережей Колпаковым, а одноклассницу Лену Теверовскую, ту вообще почему-то величала Таней Голубевой. И переучивать ее было делом безнадежным. Если разговор заходил об известных людях, например артистах, то в лучшем случае мама правильно произносила первую букву фамилии, а чаще и это была задача из непосильных. Самое интересное, что с течением времени я научился интуитивно разгадывать эти ее сложные шарады. Но если вдруг я делал вид, что не понимаю, о ком идет речь, мама начинала подозревать, что я над ней издеваюсь. Как она умудрялась при этом запоминать и легко произносить названия сложных химических формул типа циклопентанпергидрофенантрен, для меня всегда оставалось загадкой.

Тем временем пчелы перестали жужжать, бабочки порхать, солнце неумолимо клонилось к закату. От конфет уже тошнило, за весь день мы съели буханку, купленную в сельпо, запив колодезной водой.

Мы обошли пять или шесть сел. Лямки рюкзака натерли кровавые полосы на ключицах, а ведро с вечно звякающей крышкой довело меня до белого каления. На моих ногах уже не было живого места. Тысячу раз я собирался зашвырнуть ведро куда подальше за спиной у мамы, но, учитывая наличие в ведре гречки и риса, благоразумно воздерживался от этого шага, осознавая всю серьезность последствий.

Когда мы переходили по мосту через какую-то мелкую речушку, я остановился и вдруг неожиданно для себя сказал:

– Может, на станцию пойдём?

Мы плутали уже часов семь, если не больше.

На удивление мама не разразилась традиционной речью в том смысле, что какая еще может быть станция, когда мы приехали отдыхать, есть фрукты и набираться сил, и если б я ее не доводил, она давно бы вспомнила фамилию нашей Вали и даже адрес.

Нет, она остановилась, опустила сумку и чемодан. Посмотрела на меня растерянно и, можно сказать, виновато.

– Давай еще в одно село зайдем? Да и поездов, наверное, уже никаких нет, придется где-нибудь здесь на ночлег проситься. Должен же кто-нибудь нас пустить, за деньги?

– Давай зайдем! – легко согласился я. Мне вдруг стало очень жалко маму. – Вот смотри, впереди деревня какая-то.

Действительно, прямо по курсу виднелись хатки, розовые в закатном солнце. Поднажав, минут через десять мы дохромали до дома с табличкой «Правление».

Несмотря на вечер, внутри еще оставалось два человека: женщина в косынке, она сидела за столом, и мужик в пиджаке и кирзовых сапогах. Этот стоял рядом и, заложив пальцы за ремень, раскачивался с пятки на мысок, отчего его сапоги громко скрипели. Кроме Ленина, тут на стене висел еще портрет Карла Маркса.

В который раз мы втащили наши вещи, в который раз крышка ведра прогремела приветствие и в который раз, отвечая на вопрос, что нас сюда занесло, мама начала свой печальный рассказ, как нас обещали встретить, да не встретили, про Валю, техникум и практику в Москве.

И конечно, эти люди, как и все остальные, поинтересовались фамилией Вали.

И опять мама принялась за этот свой безнадежный пасьянс:

– Пакша, Гакша, Бакша, Макша, Лакша...

Лакша! За сегодня мама произнесла это впервые. И тут, как потом у меня иногда случалось в состоянии крайней усталости, я вдруг отчетливо увидел нашу квартиру, прихожую и табуретку, одиноко стоящую в углу. А на табуретке почтовый конверт. И на конверте, в графе «Обратный адрес», надпись синими чернилами: «Москва, Кирпичная ул., 8. Валентина Лахта». По возвращении из лагеря не успел я чемодан на пол поставить, как бросил взгляд на этот конверт. А ведь мне казалось, что ни одного слова я там прочитать не успел.

– Мама, – медленно сказал я, – а может быть, все-таки Лахта?

– Что? – раздраженно спросила мама. – Какая еще Лахта?

– Фамилия Вали нашей! – терпеливо начал объяснять я. – Не Макша, не Лакша, а Лахта!

– Лахта??? – переспросил мужик. – Так вы Валю Лахту ищете?

Я кивнул.

Он вывел маму на крыльцо и указал на дом напротив:

– Дивитесь! От це хата!

Мы все-таки их нашли.

Когда в ответ на наш громкий и нервный стук наконец отворились ворота, первой, кого я увидел, была Валя. Она стояла, держала в руках какой-то тазик, видимо собираясь задать корм курам. Вся ее родня находилась там же, и все они уставились на нас. На их лицах читалось то же выражение, что у всех людей в многочисленных сельсоветах, что мы обошли за сегодняшний день. Казалось, еще немного – и кто-нибудь из них скажет:

– Слухаю вас, граждане, хто вы таки, що вам потрибно?

Первой молчание нарушила Валя. Она поставила свой тазик на седло мопеда и заголосила:

– Ой, ой, приехали! Мамо, тато, дивитися, це Татьяна Никитична!

Валин папа улыбнулся нам стальными коронками, мама золотыми.

– Татьяна Никитична, идите до хаты, «Четыре танкиста и собаку» бачить!

Валя сказала это так, будто мы уже виделись четверть часа назад, а сейчас случайно проходили мимо.

– Валя! Ну почему же вы нас не встретили! – начала мама, даже не укоризненно, а как бы немного извиняясь. – Мы весь день тут по такой жаре ходим, ищем!

Валя улыбнулась и махнула рукой:

– А що нас шукаты, тут вси знають, де Лахты живуть!

Мама заморгала и потупилась. Я засмеялся. Валя продолжила:

– Я сама хотела зустріты, потом батю попросила, вин з кумом и поихав.

И уже в хате, пока грелся телевизор, Валя, лузгая семечки, весело рассказывала, как она уже было собиралась нас встречать, да дел оказалось много: белье постирать, двор вымести, кур покормить, поросенка. А тут батя как раз удачно к куму собрался, тот на грузовике работает. Вот Валя батю и попросила с кумом на грузовике заехать на станцию. А чтоб батя не перепутал ничего, Валя ему строго-настрого наказала: – Тато! Зустрічаты потрибно маты з хлопчиком, и не просто, а тильки тих маты и хлопчика, яки будуть в джинсовых костюмах!

Дело в том, что в те пару дней, что мы водили Валью по музеям да магазинам, на нас с мамой действительно были джинсовые костюмы. И Валя так к этому привыкла, что не могла нас представить в чем-либо другом. Но надевать их в такую жару мы и не подумали, а потом, ну кто в дорогом-то едет?

Короче говоря, батя с кумом загнали грузовик под навес у станции и принялись ждать, как в засаде. Ждали-ждали, ждали-ждали, несколько поездов за это время проехало, всякий народ оттуда выходил, но никого в джинсовых костюмах так и не появилось, хоть ты тресни. Батя у Вали хоть и мало что в джинсовых костюмах понимает, зато кум не зря в Харькове работал, он в моде разбирается.

Да, вроде там была женщина с хлопчиком. Точно! Они еще стояли, головами крутили, с чемоданом, сумками и ведром, но чего их беспокоить, если Валя велела встретить только тех, кто будет в джинсовых костюмах, ну и так далее. В общем, батя с кумом через пару часов поняли, что не судьба, и поехали на базар пить холодный квас, а то уж больно день был жаркий.

Когда батя вернулся и сообщил, что никто не приехал, Валя решила, что у нас либо случилось что, либо просто мы передумали, всякое бывает.

Тут начался фильм о приключениях отважных и веселых танкистов, Валя замолчала и полностью отдалась зрелищу.

То, что можно было уезжать уже назавтра, стало понятно почти сразу.

Не успел кончиться фильм, как все засобирались спать. Наскоро влив в себя по кружке заваренного липового цвета с куском хлеба в закутке у печки, мы поняли, что ничего другого не остается. Спать так спать. Нам показали койку, что стояла в неглубокой нише единственной комнаты этой хаты. Мы на ней еле уместились вдвоем, но тем не менее моментально заснули.

Наутро, после завтрака, состоявшего из кружки того же липового цвета и куска хлеба, мама принялась выяснять у Вали про святые места.

То есть где же тут велика река и великий лис.

Про реку Валя охотно сообщила, что если выйти из ворот и повернуть налево, а в том месте, где дорога упрется в поле буряка, повернуть направо и затем идти прямо, никуда не сворачивая, то там и будет река Псёл.

– Валя, а это далеко? – спросила мама, видно было, что ей понравился такой простой маршрут. – Минут за десять дойдем?

– Та ни, – снисходительно сказала Валя, явно забавляясь маминой наивностью. – Колы швидко иты, то годыны через пивтора.

Мама сглотнула. За полтора часа быстрым шагом можно было добраться от нашей «Семеновской» до Кремля.

– А если на автобусе? – не сдавалась мама. – Не обязательно же пешком?

– Який автобус? Де вы тут автобус бачили? – совсем уж поразила Валя и закончила торжественно: – Тут вам не Москва!

– А лес? – дрогнувшим голосом произнесла мама. – Ты же говорила про большой лес?

– Зараз у батька спрощу, – кивнула Валя, – вин знае!

Она выскочила на крыльцо и закричала отцу, который во дворе седлал свой мопед:

– Слухай, тато, памятаешь до Коваля гости приижджали, воны про якийсь великий лис гутарили?

Папа что-то ответил, но нам за треском мопеда было не разобрать.

Удовлетворенная Валя вернулась в хату и сообщила:

– Сказав, поиздом до Брянська, а там вже и недалеко!

Моих знаний географии хватало, чтобы понять, какое расстояние разделяет брянские леса и наши степи.

От такого известия мама явно пала духом, казалось, еще немного, и она заплачет. Чтобы не видеть ее в таком состоянии, я устоялся на большой портрет Ленина, единственное украшение хаты. Тот висел прямо над нашей койкой, а рядом стояло ведро под грибы.

И начали мы отдыхать и набираться сил.

Вставали с петухами, завтракали и отправлялись в пеший поход на реку. Все равно деться больше некуда. Хата была маленькая, в одну комнату, с закутком у печки, а народу хватало. Валя, ее мама, папа, младшая сестра, девятилетняя Ирка, бабушка и приехавший на лето четырнадцатилетний двоюродный брат Сашка. Им и так тесно, а тут еще и мы заявились.

Не то что нас не ждали, но и особой радости не выказывали, с первого дня приняв тон насмешливо-покровительственный, как с недоразвитыми. Больше всего любили при каждом удобном случае попрекнуть Москвой. Например, прошу я нормального чая, а не этого липового цвета, от которого уже тошнило и сводило скулы, так кто-нибудь из них обязательно скажет:

– Ось ще гроши переводыты! Тут тобі не Москва!

Все принимались смеяться, а мама очень смущалась, подталкивала мне жестяную кружку и громко шептала в ухо:

– Да пей же, пей, тебе говорят, это полезно!

С тех самых пор слово «полезно» мне ненавистно даже больше, чем слово «духовность».

Бедность вокруг была настолько удручающая, что на этом фоне нищее мое детство в Щербинке казалось непристойной роскошью. Во многих хатах, что мы видели, люди спали на полу, на каких-то тряпках и тулупах, одеты там все были хуже голодранцев, ели хлеб, лук и картошку, и если в семье тратили рубль в день на еду, на всю ораву, то хорошо. Наши немалые запасы тушенки и селедки мы вместе смолотили в первую же неделю. А они наворачивали, качали головами и восхищенно покрывали:

– Ось же життя у вас в Москви!

Огороды были, и немаленькие, но невероятно скучные. Смородина с вишней уже отошли, других фруктов, про которые перед поездкой постоянно твердила мама, там не наблюдалось, не было даже яблок. Сплошные те же лук да картошка. Лук от постоянных июньских дождей в том году повсеместно сгнил, и это было трагедией для всех окрестных сел. Цыбулю сдавали за деньги, выручая до пяти-шести сотен рублей с огорода, а тут осталась жалкая часть урожая, да и то луковицы были мягкие, полупустые. Оставалась надежда на картошку, ботва которой покрывала все пространство за хатами.

Вообще тема еды, пожалуй, там была главной. Вот у Грицька ковбасу на той неделе зробили, но жадные, никого не угостят, а кум на грузовике сгонял в выходные аж в Курск, зато привез сыра две головки, ящик стуженного молока, две банки обещал продать. А в военном городке – два часа ехать – шоколад в буфете, да и ну его, тильки гроши переводыты. Дважды сами взбивали масло из молока, придавая событию вселенский масштаб. Намазали и нам с мамой на хлеб тонким слоем. Масло как масло, но мама, явно делая приятное нашим хозяевам, зажмуривалась и говорила:

– Восхитительно!

Потом делали «пирожные», то есть на хлеб с маслом насыпали сахарный песок в палец толщиной. Причем пирожные эти нужно было поедать не в хате, а расхаживать с ними взад-вперед по улице, хрустеть сахаром у всех на виду, чтоб показывать достаток.

Наши московские карамельки сделали меня на время настоящим заморским принцем с дарами. Не успевал я показаться из ворот, как налетала орава вопящих детей, тянувших руки. Я быстро раздавал все, что было, но они бежали за мной еще с километр в надежде. Полный рюкзак конфет, что мы привезли с собой, растаял за пару дней. Основную часть слопал Сашка, двоюродный брат Вали.

Сашка был старше меня на три года, выше на две головы, но при этом тощий, нескладный. У него было два занятия: он либо что-то с дикой жадностью поглощал, либо торчал в туалете, исходя поносом.

Говорил Сашка мало, знал, как мне казалось, еще меньше. Не успевал он продрать глаза, как начинал со своей лежанки завывать:

– Исты хОчу!!!

Бабушка Вали, явно к Сашке теплых чувств не питая, ворчала:

– Та щоб ты сказывся! Ты и так у нас все жжер! Колы тильки тебе заберуть вид нас!

Сашка, нимало не смущаясь, продолжал свое:

– Исты хочу!!!

Бабушка не уступала:

– Так ты або жрешь, або дрыщець!

Сашка тут же парировал:

– Це я з голоду дрыщу, бо вы мени исты не даєте!

Бабушка, кряхтя, сползала с лавки, бормоча:

– Хоч бы ты рыбы наловив, проклятый!

В ответ на это предложение Сашка клятвенно заверял:

– Та дайте мени гроши на удобрення, я вам три мишки рыбы наловлю!

Дело в том, что местные жители считали традиционную рыбалку при помощи удочки делом ниже своего достоинства, подходя к этому занятию со всей ответственностью и смекалкой. Они покупали мешок нитратных удобрений и высыпали их в реку. Река вскипала, а все живое всплывало кверху брюхом на три километра ниже по течению. Как они после этого не боялись употреблять такую рыбу в пищу, оставалось тайной.

Сашке деньги не давали вовсе не из-за опасения за экологию родного края, а справедливо полагая, что он их попросту прожрет. Да и вообще с деньгами там было туго, и вторая главная тема постоянного обсуждения были гроши. Як их заработать, те гроши, и як жить, их не тратя.

Вот и бабушка, скрываясь за печкой, раздраженно говорила:

– Гроши тобі! Де я их визьму! Нехай маты твоя тобі, дурному, гроши дає!

Напоследок, уже перед тем как подняться, Сашка громко, во всю мочь вопил, чтоб стоящая за печкой бабушка услышала:

– Исты хочу!!! Бабка, дай мени поисты, або я тебе ножиком зарижу!

Та начинала быстро-быстро креститься и убегала в огород.

Все эти диалоги происходили в трех шагах от нашей койки, по этой причине каждое утреннее пробуждение было не лишено своеобразия, но мы и к этому привыкли.

В один из дней Сашка стащил у нас из-под кровати три последние банки тушенки, вспомнил их за сараем и слопал за секунду. У него случились такие колики, что уже было собрались везти его на грузовике в район, в больницу, да бабушка не дала, сказав, ничего, авось продрищется, а если зарежут в больнице, так что мы его матери скажем? И оказалась права.

В магазинах, где стоял тяжелый запах гнили, из еды был хлеб, причем невкусный, одного сорта, не белый, не черный, а такой, серый, растительное масло, консервы, которые даже в тех краях есть не решались, типа кильки с перловой крупой, засиженная мухами подсолнечная

халва, от жары растекшаяся асфальтовыми лужицами, и сахар-песок. Сахара было много, и стоил он дешевле, чем в Москве. Первый пояс производства, как объяснила мама.

Как-то раз Валин папа, подъезжая к дому на мопеде, принялся отчаянно сигналить и орать на всю улицу дурным голосом, перекрывая тарыхтение мотора:

– Ганна!!! Отворяй ворота!!! Ганна!!! Отворяй!!!

Валина мама, охая, побежала через весь двор к воротам, переваливаясь как утка. Не успела она откинуть засов и отворить одну створку, как во двор на скорости въехал Валин батя и заголосил:

– Ганна!!! Затворяй ворота!!! Затворяй!!!

Когда все это было моментально исполнено, батя соскочил с мопеда, изобразив нечто вроде пляски святого Витта, приговаривая:

– Ой, ой, сторю, сторю! Ой, ой, сторю, сторю!

С помощью жены он резво содрал с себя ватник, и выяснилось, что он весь, словно матрос пулеметными лентами, перепоясан горячими сардельками. Ганна потянула за конец этой ленты, а батя начал бешено крутиться, как волчок, против часовой стрелки. По всему было видно, что номер этот у них давно и четко отработан. Дело в том, что батя раз в квартал, как инспектор по охране труда, получал мзду с местного мясокомбината, но вывезти свою добычу через проходную мог лишь подпольно, неделю потом страдая от волдырей.

Кстати, сарделек этих нам никто не предложил, справедливо рассудив, что такого добра и в Москве нашей богато, а у них раз в три месяца.

Частенько вечером, особенно когда отключали электричество и по сей причине телевизор был недоступен, хозяйева наши зажигали керосиновую лампу, садились кружком и внимали маминим рассказам про московскую жизнь. Поначалу мама пыталась вести разговор о театрах и выставках, но ее почти сразу же оборвали, сориентировали, поэтому в дальнейшем она стала говорить исключительно о магазинах, что там продается сейчас, что продавалось ранее да по какой цене и в какие годы.

Они могли это слушать бесконечно, причем не особо-то и веря, как дети слушают сказки о далеких заморских странах, сапогах-сороходах, коврах-самолетах, скатертях-самобранках. Время от времени Валя подавала голос, подтверждая, что так оно и есть на самом деле, наши походы по центральным магазинам оставили в ее памяти глубокий след. На нее махали руками, мол, Валентина, и ты соврешь – недорого возьмешь, но слушали внимательно, ни слова не пропуская.

В эти моменты мне больше всего хотелось взять их да скопом перетащить к нам домой на месяц, а лучше на полгода. Каждый день водить их в Кремль, Дом книги, бассейн «Москва», Елисеевский магазин, Филипповскую булочную, магазин «Хлеб» на Калининском, в цирк, старый и новый, в «Детский мир», МГУ, парк Горького, показывать им иллюминацию на Центральном телеграфе и кино в кинотеатре «Октябрь», кормить их самой лучшей и вкусной едой, а главное, продемонстрировать этому дуралею Сашке настоящий праздничный салют. Он видел салют лишь по телевизору и отказывался верить, что такая красота существует на самом деле.

День на третий меня пришли отметелить. Уже все поужинали, то есть выпили липового цвета, зажевав хлебом, и тут ко мне подошел Сашка и негромко, чтоб никто больше не услышал, обронил:

– На вулиці хлопці стоять, погутарить хочуть з тобою!

В свои одиннадцать я уже имел пятилетний стаж пионерских лагерей и отлично понимал, как именно сейчас со мной погутарят. Но не выйти было нельзя, и маму предупредить нельзя. Соблюдая кодекс чести, я как мог беззаботнее крикнул:

– Пойду пройдуся!

– Только не долго, – отозвалась мама, – а то скоро всем спать ложиться, а ты явишься и всех перебудишь!

Она говорила это особым, нарочитым тоном, чтобы все оценили ее деликатность, хотя сама сколько раз мне жаловалась, как ее изводят эти постоянные укладывания на боковую в восемь вечера.

Ладно, еще была маленькая надежда, что Сашка вступится, если что. Я вздохнул и толкнул ворота.

Мать честная! Там стояло все детское население села и, возможно, еще парочки соседних, начиная от совсем карапузов и кончая уже здоровыми парнями. Мелькали огоньки сигарок. Я сделал несколько шагов и остановился. Местные тут же выстроились плотным полукольцом. Сашка благоразумно топтался где-то сзади.

Из толпы вышел крепкий пацан лет пятнадцати, вразвалочку приблизился, ловко выплюнул сигарку и, глядя в землю перед собой, очень солидным, сиплым басом осведомился:

– Кажуть, ты з Москвы приихав?

На нем был явно не по росту пиджак, наброшенный на плечи, либо бати, либо старшего брата, от этого он казался невероятно широкоплечим. К нему присоединилась еще парочка примерно таких же, хотя его одного для меня было более чем достаточно.

– Да, из Москвы! – печально кивнул я, понимая, к чему идет дело. Все вопросы здесь были лишь для порядка, но по правилам сначала необходимо прилюдно деморализовать жертву, а затем уже приступить к экзекуции.

Чужаков всегда не любят. И почти всегда их лупят. Лупят новеньких в классе, лупят зашедших в соседские дворы, лупят тех, кто впервые попал в пионерлагерь, а уж тех, кто приехал из другого города, того просто обязаны отлупить.

Станным образом этого никогда не понимала мама. Куда бы мы ни приезжали, она постоянно вытаскивала меня из дома на улицу, чтобы я, по ее выражению, «шел дружить». Заканчивались эти походы за дружбой всегда одинаково. Аборигены настигали меня, наскоро опрашивали и быстренько разбивали лицо. Я всегда пытался оказывать сопротивление, но трудно противостоять коллективу, сплоченному общей идеей.

Когда я возвращался, скрывая по возможности следы контактов с местным населением, мама всякий раз выражала неудовольствие:

– Почему так быстро вернулся? Что же ты все за мою юбку держишься, неужели тебе ни с кем дружить не хочется?

То, что здесь все пойдет по стандартному сценарию, я даже не сомневался. И скорее всего, только расквашенным носом и порванной рубашкой не обойтись, потому как я не просто чужак, а чужак из Москвы, невиданный вызов им всем.

– З Москвы, значить! – нехорошо усмехнулся этот сиплый, лениво поднял на меня глаза и, оглянувшись на своих, спросил: – А не брешешь?

Толпа одобрительно загудела, а кто-то из малышни громко пропищал:

– Брешеть, брешеть!

И многие, поддержав, сразу радостно заголосили:

– Брешеть! Брехло, брехло!

Эх, дети, дети, а я ведь вас конфетами кормил!

– Подумаешь, Москва! – подал голос кто-то. – А у меня тетка в Полтаве живе!

– Цыть! – прикрикнул на них сиплый, и все тут же замолчали. Правильно, нельзя нарушать регламент. – А ну! – Сиплый толкнул вдруг Сашку, который зазевался и неосторожно вылез вперед. К всеобщему удовольствию, тот кубарем полетел на землю. – Ты ще тут пид ногаы плутаешься!

Все одобрительно засмеялись, он тоже здесь своим не был.



Сашка поднялся, сутулясь сильнее обычного, отряхиваясь и смущенно улыбаясь, отступил к самым воротам. Надеяться на него уже не приходилось.

– Мени сказали, ты з матирю тут? – продолжил свой допрос сиплый. – А батько твий, вин де?

Все правильно, от батьки в принципе могли быть неприятности, и я это понимал, но что тут обманывать.

– Они с матерью в разводе! – сказал я, сглотнув, уж больно не любил эту тему. – С прошлого года!

– Та ты що? – явно глумясь, вытаращил глаза сиплый, не пытаясь скрыть радости, ну еще бы, теперь и единственное препятствие исчезло. Он стал обходить меня кругом, как бы разглядывая во всех подробностях. – То-то я и дивлюся, ты все з мамкою ходышь!

Все снова загоготали.

– И що у вас там, в Москви, з матирю? – Он не собирался заканчивать эту бодягу, ему явно нравилось гарцевать тут перед всеми. – Своя хата, чи що?

И тут я вдруг звонко рассмеялся, живо представив себе хату типа этих, да еще с поросянком в сарае, и почему-то на Красной площади, как мы там с матерью кормим кур, ходим с ведром по воду и сушим белье на веревке. Понимал, что это лишь усугубит ситуацию, но ничего с собой поделать не мог, все смеюсь и смеюсь, никак не могу остановиться.

– Ты чого ржешь як жеребець? – несколько опешил сиплый. – Говори, а то зараз дам у вуха!

– Нет, не хата! – утерев слезы, наконец выдавил я из себя. – Квартира!

– Хвартыра? – видно, не совсем понимая, о чем идет речь, насторожился сиплый. – На який вулиці ця ваша хвартыра?

– На Кирпичной! – легко ответил я. – На Кирпичной улице!

– От брехло! – возмутился сиплый. Он даже раздулся от негодования.

– Брехло, брехло!!! – опять подала голос толпа.

– Кырпычна, оловяна, деревяна! – передразнивая, противным голосом пропел сиплый.

Затем опять повернулся к своим и торжественно отчеканил: – Немає такой вулиці в Москви!

Все одобрительно загудели:

– Немає! Брехло! Брехло!!!

– А ты что, – вскинув голову, отважно поинтересовался я, – все улицы в Москве знаешь?

На какое-то мгновение тот немного растерялся, у него забегали глаза, но, быстро совладав с собой, он сообщил, гордо подбоченясь:

– Я-то? Я знаю! Вулицю Ленина в Москви знаю!

По толпе прошел дружный гул согласия.

– Нет никакой улицы Ленина в Москве! – твердо и спокойно сказал я. – Нет и не было никогда!

А что, умирать, так с музыкой.

– Ты мени Ленина не трожь! – с угрозой прошипел сиплый. – Вулиця Ленина у всіх мистах є!

– А в Москве, – еще тверже и громче повторил я, – улицы Ленина нет!

Из толпы раздалось, на этот раз яростно:

– Брехло!!! Брехло!!! Дай йому, Мыкола!!! Дай!!!

– Ну я це тобі запам'ятаю! – клятвенно пообещал этот сиплый Микола, услышав требования односельчан. – Брехло, москаль поганий!

Поведя плечами, он скинул свой огромный пиджак и приблизился вплотную. Предлог был найден, и тянуть не имело смысла. Удар по морде теперь можно было ожидать в любой момент.

– Так де там твоя хвартыра? – примериваясь, как бы мне половчее врезать, продолжал интересоваться Микола для отвлечения внимания. – Та, що на Кырпычной вулиці?

– В доме! – понимая, что час расплаты пробил, глядя ему в глаза, сообщил я. – В обычном доме, на восьмом этаже!

И вдруг Микола запнулся, остановился и сделал шаг назад.

– Чого??? – Он выпучил глаза и указал на меня пальцем. – На якому??? На восьмому???

Он схватился за живот, осев на корточки, затем уперся головой в землю, после чего перевернулся на бок и, засучив ногами, принялся гоготать:

– А!!! Не могу, не могу, ну брехун, ну москаль, восьмий этаж!!!

И вся эта монолитная толпа вдруг рассыпалась. Кто-то повалился как подкошенный, кто-то согнулся в три погибели, кто-то плюхнулся на задницу с размаха, но равнодушных там не было. Все они заливались, хрюкали, сучили ногами, катались по траве. Даже флегматичный Сашка бился в конвульсиях у ворот, а он-то каждый день по три раза слушал рассказы Вали, как она жила у нас в комнате на восьмом этаже и обожала выходить на балкон обозревать пейзаж.

– Брехло!!! Брехло!!! – выли и стонали они на все лады. – Восьмий этаж!!! Ой, не могу!!! Ой помираю!!!!

С тем же успехом я мог сообщить, что живу на восемьсот восьмом этаже. А то, что показывали в кино и по телевизору, мало соотносилось ими с реальностью, к тому времени мне это было уже понятно.

Позже я узнал, что в их районном центре самым высоким домом было двухэтажное здание горкома, расположенное в бывшем купеческом особняке.

Бить меня не стали. Зачем, когда я сам себя так разоблачил и опозорил. Колотить бессовестного брехуна – себя не уважать.

И вплоть до самого нашего отъезда, стоило мне только показаться на улице, как за мной устремлялась улюлюкающая толпа малышни:

– Брехло!!! Брехло иде, восьмий этаж!!!!

\* \* \*

Шел день за днем. Мы все так же ходили на Псёл, став черными от загара. Так как бани у наших хозяев не было, с собой мы всякий раз брали кусок мыла. Валялись на берегу и читали книжки. Обратного пути было тяжело, жарко, и кусали слепни. Со временем мы научились тормозить попутный транспорт, включая и цыганские повозки. Нас довозили до перекрестка, сокращая дорогу ровно вдвое.

Обычно во время пути мы шли и разговаривали, хотя разговорами это назвать было трудно. В основном говорила мама, а я слушал. Она рассказывала мне о своей школе у Военторга, где училась с ребятами – выходцами из известных семей, вроде племянников маршала Жукова или сына наркома Кагановича, – как ее пионервожатыми были дочери Хрущева и Буденного, какие буфеты устраивал в школе Никита Сергеевич и как ее одноклассник, сын прокурора Москвы, поведал, что когда вырастет, то первым делом убьет своего отца за то, что тот водил его на допросы врагов народа и заставлял на это смотреть.

Мама пела веселые песни своей студенческой молодости и рассказывала, как познакомилась с отцом, когда они учились в МГУ. От последнего совместного отпуска родителей в позапрошлом году у меня осталась красивая туристская кепка с пластмассовым козырьком и с надписью: SAULKRASTI-72.

Еще мама сообщила, что в следующем году она защитит диссертацию, будет получать больше, и тогда мы снова сможем поехать в Крым или Прибалтику.

Однажды мама принялась объяснять, почему тут все так плохо живут. Рассказала про раскулачивание, про колхозы, как людей, настоящих крестьян, увозили в ссылку целыми

селами, а дома оставались лодыри да пьяницы, не умевшие ни сеять, ни жать. Говорила про то время, когда каждую яблоню, каждую грушу обложили налогом, и чтобы не платить, хозяева деревья эти принялись повсеместно вырубать. Вот отчего тут с тех пор ни яблок, ни груш.

Зато, говорила мама, здесь совсем не глушат «Голос Америки», такое радио тут никто не слушает. Это точно. Даже на такой допотопной радиоле, что стояла у нас в хате, принималось отлично. Мы ловили «Голос Америки» и «Свободу» в те редкие минуты, когда в доме никого не было, кроме нас. В далекие дошкольные времена, на даче в Щербинке, я засыпал под треск дедушкиного приемника, запоминая наизусть почти каждую передачу. И если в выходные приезжали гости, то, рассаживаясь к обеду за большой стол на террасе, они валились от хохота, едва я начинал: «Вы слушаете „Голос Америки“ из Вашингтона!»

Обычно после обеда я вытаскивал на прогулку Валину сестру Ирку и ее двоюродного братца, вечно голодного Сашку, и мы шли гулять куда глаза глядят. Сашка явно боялся лишний раз выйти за ворота, опасаясь хлопцев, от которых ему доставалось с завидным постоянством, приходилось тащить его почти насильно. А меня здесь так ни разу и не отлупили. Думаю, он считал, что я заговоренный.

Мама периодически говорила:

– Все-таки Сашка – дегенерат!

А мне казалось, что не такой уж Сашка и дегенерат, просто в свои четырнадцать он вел себя как семилетний. Мечтал всегда о какой-то ерунде, играл в совсем уж детские игры, целый месяц воображая себя Янеком из фильма о четырех танкистах.

А Ирка была шустрой и веселой, хоть и ябедой.

Я пробовал пересказывать Сашке с Иркой самые главные мои книги, загадывать ребусы и шарады из Перельмана, но быстро увидел, что им это не интересно. Зато я научил их делать дудки из сухого борщевика, и мы бродили по дорогам и свистели. Больше всего Сашке с Иркой нравились дурацкие песенки и страшные истории. После стольких смен в пионерлагерях подобное я знал без счета, и они просили меня исполнять именно это.

\* \* \*

А грибы-то мы нашли!

Однажды, возвращаясь с реки, мы чуть забрали в сторону и через четверть часа заметили в степи какую-то сине-зеленую прямоугольную заплатку.

Заплатка оказалась сосновой посадкой приличного размера. С какой целью тут высадили эти сосенки, было непонятно, но главное, под каждой там было по несколько маслят, маленьких, все просто один к одному, только появившихся, не червивых. На следующий же день мы отправились с рассветом туда, причем я совсем не протестовал, так хотелось сделать маме приятное.

Позаимствовав корзины у хозяев, мы прочесали весь этот искусственный лес. Под низкими ветками приходилось ползти буквально по-пластунски, после чего у нас была полная башка трухи, паутины и иголок, но это того стоило.

Мы собрали столько, что после того, как эти маслята были отварены и засолены, их получилось ровно на полное ведро, а я-то хотел его выкинуть. Ведро поставили в погреб и закрыли на ключ от Сашки, ну а мама была просто счастлива.

Валя, в Москве от мамы не отходившая, тут с самого нашего приезда стала вести себя так, будто мы соседи, никак не больше.

Мама сначала удивлялась, потом обижалась, но дней через десять привыкла и несколько раз мне на Валю жаловалась.

Та любила взять понравившуюся вещь из маминого раскрытого чемодана и, приложив к себе, встать у зеркала, направив на маму особый взгляд. Мама моргала и смотрела растерянно. Тогда, чтоб было понятнее, Валя говорила:

– Це мени потрібно!

Таким образом Вале перекочевала пара маминых кофточек и пудреница.

Когда мы оставались наедине, мама говорила:

– Все-таки Валя наглая.

Но мне никакая критика не позволялась, видимо, мама боялась, что нам откажут от места.

За жилье с нас денег не брали, и мама считала, что за это она должна все время показывать хозяевам, как мы это ценим. Благодарность эта заключалась в том, что она ежедневно заставляла меня таскать воду из колодца на другом конце улицы. Когда я робко интересовался, почему это здоровый Сашка за три недели не притащил ни одного ведра, а я за день должен таскать по десятку и уже на этом деле надорвался, мама возмущалась:

– Ты что, Алеша, не понимаешь, это их родственник, а мы тут с тобой на птичьих правах!

На это я справедливо возражал в том смысле, что, насколько мне известно, Таня с Валец, пока тоже бесплатно жили у нас в Москве, никакую трудовую повинность не отбывали. Мама в ужасе оглядывалась и принималась яростно шептать:

– Замолчи, замолчи, идиот! Не дай бог, они тебя услышат!

На лавке, что была вкопана рядом с колодцем, вечно торчал взрослый чубатый парень, представитель местной «золотой молодежи». Он тут один из немногих был владельцем мотоцикла, и поэтому рядом с ним постоянно вертелись девки. Мотоцикл стоял всегда тут же, он его нарочно не закатывал во двор, чтоб все видели, с кем имеют дело.

Не было случая, чтоб он не отпустил в мой адрес какую-нибудь колкость. Как правило, все его издевки касались одной темы, а именно какие мы в этой поганой Москве изнеженные и ленивые, да будь его воля, он бы этих москвичей повиселял к чертовой матери и заставил бы их вот так жить, як вси нормальни люди живуть.

В этот раз он тоже был на своем месте, широко развалившись на лавке с очередной девкой, что-то шептал ей на ухо, отчего та хохотала как полная дура, а в промежутках с чувством и хрустом уплетала хлеб с сахарным песком. И только я начинал вытягивать колодезное ведро, крутя за ручку ворота, как он принимался за свое:

– Та що ты так вертиш, як псих, верти спокійніше, а то всю воду розплескати, поки витягнеш! От ты, кацап безрукий!

Чего мне больше всего хотелось, так это повернуться и хорошенько дать этим ведром по его пустой башке. А он все не унимался:

– Ось чому ви, москалі, нічого робити не вмієте, як ви живете в Москві вашій? І хто тільки там вам воду носити?

Я уже перелил воду, перехватив ведро поудобней за ручку, максимально напрягся, но все равно легко нести не получалось, ноги подгибались, вода выплескивалась на кеды, и я даже не знал, кого ненавижу больше – себя или этого чубатого за спиной.

– Дивись не впади, дохляк! Може, тобі мамку покликати?

Какое же оно тяжелое, это проклятое ведро, как же далеко его нести! У меня жилы от шеи готовы были оторваться.

– Я молодше був, так и то по два відра тягав! – гордо сообщал он своей жующей крале.

Я еще не успел отойти, и мне все было слышно. Девка, перестав на секунду чавкать, начала живо интересоваться:

– Михась, а цей хлопчик, він чомусь одне відро несе?

А Михась лишь этого и ждал. В спину мне раздается его радостный гогот:

– Він не хлопчик, він дистрофік!

За все это время Валя ходила с нами на реку всего раз или два. Она вообще старалась не показываться на солнце, говорила, что, ежели у нее обгорит нос, хлопцы задразнят. Но тут, в последнюю неделю нашего отпуска, солнце скрылось за мглой, и Валя согласилась. На нашем месте не было ни души, лишь журчание реки и крик далеких птиц нарушали тишину. Я искупался и только достал книжку, как тут появились двое.

Они расположились неподалеку и, пока устраивались, все поглядывали на нас, в основном на Валу. Два молодых крепких мужика. Один блондин, другой брюнет. Брюнет разделся, с шумом полез в реку, второй даже раздеваться не стал, закурил и опять принялся бесцеремонно разглядывать Валу, прищуриваясь и ухмыляясь. Та сидела нарочно поодаль от нас с мамой, ближе к кустам, чтоб уж точно не обгореть. Почувствовав взгляд мужика, Валя немного смутилась и покраснела. Тем временем мама перевернулась на спину, затем села, нацепила очки и с большим интересом стала наблюдать за тем, как плывет брюнет.

– Смотри, Алеша, – вдруг очень громко начала она, – вот как нужно правильно плавать кролем!

Блондин на мгновение перестал смотреть на Валу и теперь с любопытством уставился на маму. А ту было уже не остановить. Ее голос разносился далеко над водой:

– Помнишь, сколько раз я тебе объясняла, что, когда плывешь кролем, нельзя крутить головой и дышать нужно только в воду? А ты? Посмотри, посмотри, тебе говорят, как мужчина это делает! Вот почему ты так не плаваешь?

Я вздохнул, отложил книжку и тоже принялся подглядывать за брюнетом. Тот доплыл до противоположного берега, ловко забрался на кручу и, раскачавшись на тарзанке, красиво вошел в воду, изобразив нечто вроде сальто, вынырнув аж в десяти метрах от места вхождения. Да, я так точно никогда не научусь. Но зачем маме уж так кричать, когда я рядом и все прекрасно слышу.

– А теперь смотри, как нужно плавать брассом! Не понимаю, почему ты говоришь, что тебе брассом не нравится! Нужно просто скользить по воде, вот так, как мужчина, и ничего трудного!

Блондин как-то нехорошо ухмыльнулся, поднялся, щелчком отбросил окурок в реку, засунул руки в карманы и вразвалочку направился к Вале.

Он присел рядом с ней, протянул пачку сигарет. Валя отрицательно помотала головой. На этот раз тот усмехнулся еще гаже и сплюнул в сторону. Стал о чем-то спрашивать Валу. Мама, увлеченная моим воспитанием, этого не заметила. Валя была у нее за спиной. Из-за маминих криков долетали лишь обрывки их разговора.

– Ты местная? – поинтересовался блондин.

Валя кивнула и что-то сказала. Потом она его что-то спросила.

Мужик покачал головой, в упор глядя на Валу. Валя опустила глаза. Тогда уже он ответил, и я расслышал:

– Не, мы с Ростова! Ростов-папа, знаешь? У нас кореш откинулся, проведать нужно.

Тем временем брюнет, вдоволь накупавшись, вылез на берег, и оказалось, что он весь покрыт татуировками: звезды на плечах, звезды на коленях, купола на груди и все такое. При этом он был необычайно мускулистым, просто как цирковой силач.

Мама восприняла увиденное по-своему и чрезвычайно вдохновилась:

– Алеша, тебе нужно обязательно заниматься спортом! Обязательно! А то так и останешься хилым! Вот вернемся в Москву, сразу иди и в секцию записывайся!

Тогда я решил посмотреть на маму таким особым взглядом, чтоб она почувствовала, что пора бы ей уже и закругляться, но та намек не поняла.

И тут события стали разворачиваться с невероятной стремительностью. Блондин придвинулся вплотную к Вале и приобнял ее. Валя поежилась и скинула его руку, немного отодвинувшись. Тогда он хмыкнул и привлек к себе Валу решительно и грубо. Валя вскочила

на ноги, я тоже. Только сейчас мама, почувствовав неладное, осеклась и замолчала и, наконец обернувшись, увидела, что же тут происходит в пяти шагах у нее за спиной.

Валя попыталась отойти, но брюнет уже приблизился к ним и заступил ей дорогу, а блондин схватил за руку. Обнаружилось, что и у него татуировки, во всяком случае, я разглядел перстни на пальцах. Мама тоже вскочила на ноги и закричала:

– Что вы делаете! Прекратите!

А эти даже не обратили на нее внимания. И когда Валя с негодованием вырвала руку, этот блондин в перстнях схватил всей своей татуированной пятерней Валью прямо за лицо и с силой впечатал ее в песок, так что земля загудела:

– Будешь ты еще мне дергаться, мандавошка!

Не мешкая, они схватили рыдающую Валью, один за одну ногу, другой за другую, и поволокли в заросли ивы, хохоча и подвывая.

Мы оба орали, бежали следом, я хватал их сзади, мама колотила им по спинам:

– А ну пустите ее, пустите, подонки, подонки!

Они остановились, блондин обернулся и лениво ударил маму в плечо, отчего она кубарем полетела на землю. Я дико заорал и принялся лупить его что есть мочи, но он врезал мне ногой в бок с такой силой, что у меня остановилось дыхание.

Мама вскочила первой и снова бросилась очертя голову отбивать Валью:

– Мерзавцы, звери, подонки!

Тут этот мускулистый брюнет, стилем плавания которого лишь недавно восхищалась мама, свободной рукой схватил ее за горло и прошипел прямо в лицо:

– Задушу, падаль!

Я с трудом поднялся, наглотавшись слез и песка. Ослепленный неизведанной прежде ненавистью, я схватил какой-то увесистый камень и со стоном запустил брюнету в голову. Камень, просвистев на полметра выше, врезался в отлом берега, туда, где построили свои укрытия ласточки-береговушки.

– Да ты че творишь, потрох сучий!

Тяжело дыша, я начал шарить глазами в поисках нового камня, но, как назло, ничего рядом не нашлось. Мама страшно захрипела, брюнет продолжал стискивать ей шею своей ручищей. Но тут блондин вдруг отпустил щиколотку Вали, не спеша достал сигареты, прикурил и, не глядя на нас, произнес, обращаясь к товарищу:

– Хер с ними, пусть сваливают!

Брюнет посмотрел на него, пожал плечами, оттолкнул маму, отчего она села на песок, стала судорожно втягивать в себя воздух и сразу закашлялась. Затем он отцепился и от Вали.

Хотя место было кричи не кричи. Скорее всего, просто стало неохота возиться, шума много, а потом, мало ли, убивать придется, закапывать. А у них тут дела какие-то, кореш ждет.

Мама медленно встала, ощупывая горло. Не переставая кашлять, она схватила трясушную от рыданий Валью, которая уже мало что соображала, и потащила ее за собой к дороге. А я, в секунду собрав наши пожитки, полетел их догонять.

Первый километр мы бежали не останавливаясь, поминутно оглядываясь – а вдруг те передумали. Потом выдохлись, но все равно шли очень быстро. Нам все мерещились их оскаленные пасти и чудились их голоса.

Валя хоть немного успокоилась, но несколько раз принималась дрожать и плакать в голос. Как нарочно, и попуток никаких не было. Когда мы наконец добрались до дома, Валя дала волю чувствам, и только стакан самогонки ее немного успокоил. Спустя час-другой мы смогли рассказать, что же с нами случилось, и Валина мама тут же принялась суматошно бегать по хате взад-вперед и приговаривать:

– Ох ты, лишенько, лишенько! Ничого, ничого! Слава тобі, Хосподи, слава, що живы! Чи живы, ось и добре! Не вбили, ось и добре! Слава тобі, Хосподи, слава, що живы!

Больше мы на реку не ходили.

Через три дня за Сашкой приехала мать, старшая сестра Вали, и в тот же вечер его увезла. Мне она очень не понравилась, ходила по хате задрав нос, со своей халой на голове, а когда заявила, то с мамой и не поздоровалась. И вообще за то время, что она тут была, нас просто не замечала. Наверное, квартиранты, что не платят гроши, считались у нее за последний сорт людей. Валя, видя такое, немедленно начала нас стесняться, желая сделать приятное своей сестре.

Сашка тоже сразу перестал со мной общаться и в конце так и не попрощался, вот каким чутким парнем оказался, а вовсе не тупым, как считала мама. Эх, а я ведь хотел его в Москву взять пожить, салют показать. Только у самых ворот он остановился и принялся было за свое:

– Исты хочу!

Но тут же получил от своей мамашы увесистый подзатыльник, втянул голову в плечи, подхватил чемоданчик и поспешил к грузовику, что ждал на улице. Настало и нам время уезжать, пятая неделя пошла, не шутки. Билет удалось взять лишь до Брянска, мама, как всегда, досидела до последнего. Даже я понимал, что тридцатого августа все ломанутся с курортов в Москву. Конечно, лучше бы пораньше вернуться, ну да что уж теперь. А тут еще и в новую школу идти. В нашей за несколько дней до каникул четвертый этаж обвалился на третий, хорошо, дело было ночью, а так бы несколько классов похоронили. Поэтому школу закрыли, а учеников перевели кого куда. Наш класс получил место в школе неподалеку, повезло. Хотя непонятно пока, как там встретят, надо всем вместе держаться, обычное дело.

Еще было ясно, что нашу новую трехкомнатную квартиру придется разменивать, а я ведь там и не пожил толком. Значит, опять новая школа предстоит, уже четвертая, а переезжать так не хочется.

За день до отъезда Сашки, уже ближе к вечеру, гуляя с ним и с Ирккой, мы набрали в степи на оазис. Это был заброшенный яблоневоый сад, впервые за месяц мы увидели яблоки и с ходу на них набросились, особенно усердствовал Сашка.

Наевшись до отвала, мы набили за пазуху сколько могли яблок и приволокли домой. Но эти мы нарвали с какой-то другой яблони, они были твердые, еще не зрелые и не сказать, чтоб вкусные. Даже Сашка к ним не проявлял интереса. Я свалил их под кровать, чтоб потом взять в Москву.

– Только яблок твоих не хватало! – узнав о моих планах, заявила мама. – Ты что, забыл, нам ведь еще грибы везти!

Да, точно, грибы эти! Но оставлять яблоки, единственную здесь мою добычу, было жаль. И с обеда сгрыз не менее десятка. Я же сюда именно для этого приехал. Фрукты есть, сил набираться.

Проснулся я от ощущения, что меня перепиливают ржавой пилой. За окнами еще не рассвело, мама спала рядом. Чтоб не разбудить ее, я тихонько встал и, стараясь не охатъ, вышел во двор. Выворачивать меня стало тут же, на грядках, в двух шагах от дощатого туалета, до которого я не смог дойти.

Потом все проснулись и начали бестолково суетиться. Лекарств на этот случай не нашлось ни в нашем доме, ни у соседей, а мама, та вообще никогда их собой не брала. Поэтому в меня начали пихать все, что было, от анальгина до валидола, и смотрели, что будет.

Самое интересное – мне не становилось лучше, а можно сказать, наоборот. От боли разрывало, в голове звенело, ноги стали ватные, руки тоже. Я лежал, стонал, периодически вскакивал, бежал к туалету, где меня выворачивало. А когда плелся обратно падать на койку в хате, то думал: вот действительно я идиот, права мама. Даже хуже Сашки, тот хотя бы никогда так не мучился.

Мама страшно переживала, через каждые пять минут спрашивала, не лучше ли мне, хотя и сама могла догадаться, что нет.

– Как же мы поедem! – все приговаривала она, начиная взволнованно расхаживать туда-сюда, потом подходила, садилась рядом и спрашивала: – Ну что, тебе не легче?

Я ничего не отвечал, сил не было, а когда пытался, опять подкатывала мутная волна, а подниматься и ползти к туалету я уже не мог. От одной мысли о скорой дороге хотелось тотчас же умереть. Добрые хозяева принесли тазик и поставили в изголовье. Валина мама что-то шептала Вале на ухо, а та лишь отмахивалась:

– Та ни, поидуть, никуды не подинуться!

У них и без нас забот хватало, на днях колорадский жук пожрал всю картошку, и нужно было думать, как пережить зиму.

А время поезда неумолимо приближалось.

Видимо, в какой-то момент меня оставило сознание, поэтому дальнейшие события я почти не помню. Совсем не помню, как мы добирались до станции, как меня вносили в поезд, как затаскивали вещи. Помню только, что, когда уже поехали, я попросил воды, но у мамы не нашлось. Жаль. Это было первое желание влить что-то в себя, а не наоборот. Потом я обнаружил себя на верхней полке, и уже была вода, вернее, стакан чаю, первый нормальный чай за месяц. Потом я опять спал, и спал долго-долго. Когда проснулся, эта страшная боль почти ушла, оставшись тупым гвоздем где-то там, глубоко.

Я даже начал вполглаза следить за карточной игрой двух мужиков, что сидели на боковых местах. Игра была какая-то странная, их партии продолжались не более минуты. Не успевали они раздать по три карты, как буквально сразу принимались раздавать по новой. А поезд шел медленно-медленно, чаще не ехал, а стоял, и за окном начало темнеть.

Я снова заснул, и, когда проснулся, был уже Брянск. Мама оставила меня сидеть на чемодане, а сама побежала в ночь. Там, у дальнего конца платформы, угадывалось шевеление серой массы людей, и долетали отголоски нестройного гула. Тут меня начало знобить с такой силой, что даже зубы стали лязгать. Я все сидел и дрожал на этом темном пустом перроне, и стук моих зубов заглушал свистки проходящих тепловозов.

Спустя час мама пришла и сообщила, что билетов нет и сказали, что и не будет, но через два часа должен проходить поезд на Москву, и ходят слухи, что на него билеты начнут продавать непосредственно перед самым прибытием. И она опять побежала туда, где качалась далекая толпа, снова оставив меня одного.

Как потом рассказывала мама, когда она вернулась, к кассам подойти уже было нельзя, такая тьма народу осаждала вокзал. Очередь, которую она заняла, ей разыскать почему-то не удалось, да еще темно, час ночи. Она предприняла несколько попыток вклиниться, то там, то здесь, но без результата. И тогда от отчаяния она во всю мочь завопила:

– У меня ребенок умирает!!! Пустите, пустите, дайте пройти!!!

И толпа вдруг дрогнула и на миг расступилась.

Поезд, на который маме все-таки удалось вырвать два места в общий вагон, брали штурмом настолько остервенело, будто мы попали на съемки фильма про войну и эвакуацию. По всему было видно, что те, кто так и не смог достать билета, все равно решили убраться отсюда всеми правдами и неправдами. Люди стояли, толкались, уставшие и злые, и страшный черный поезд, что выскочил из мрака и ослепил прожектором, вдруг дал очень громкий, резкий и протяжный гудок.

Он еще не успел затормозить, как эта толпа, в семь рядов стоящая на платформе, взревели и пришла в движение. Все напирали, орали, ругались, забирались, казалось, друг другу на плечи, над головами плыли чемоданы, баулы, сумки. Мы были ничем не лучше остальных, таких же озверелых мешочников, со всеми нашими вещами, да еще с этим ведром грибов.



И опять нам повезло. В тот момент, когда поезд наконец остановился, двери вагона оказались ровно напротив того места, где мы находились.

Толпа подхватила нас, понесла вперед и вбила меня в тамбур первым. В темноте я налетел на чей-то чемодан в проходе, споткнулся, упал, но тут же вскочил. Проинструктированный мамой, что нужно занимать любое свободное место, не мешкая и не раздумывая, я на ощупь вскарабкался на третью багажную полку в первом же отсеке. Словно обезьяна, с такой быстротой и ловкостью. Непонятно, откуда только силы взялись. Вагон был набит людьми до отказа, скорее всего, залезали на всех станциях раньше. Я очень боялся, что мама отстанет от поезда, все вглядывался в проход со своей полки, пытаюсь разглядеть ее в этой сутолоке и давке. По счастью, она и сама умудрилась влезть и ведро с грибами втащить, но места ей уже не досталось.

Через какое-то время, когда состав уже бежал на Калугу, сердобольная пассажирка нижней полки гостеприимно поджала ноги, выделив маме кусочек пространства, где она и сидела до самой Москвы, держась за штангу, ей даже удалось задремать. А многие так и стояли со своими чемоданами и мешками, клевали носом, будто это не скорый поезд, а тульская электричка.

Утро встретило нас на площади Киевского вокзала. Перед тем как отправиться к метро, мы остановились перевести дух, меня все еще немного пошатывало. Завтра в школу, и в моем распоряжении оставались ровно сутки отдохнуть и набраться сил перед учебным годом.

По мосту через Москву-реку навстречу друг другу ехали поливальные машины, вода была красивым серебристым веером. Солнце золотило шпиль гостиницы «Украина». Нас здесь не было всего месяц, а казалось, что лет сто. Я не трогался с места, все смотрел и смотрел, а голове у меня крутилось и крутилось: – Слава тоби, Хосподи, слава, що живы! Слава, що живы!

*Москва, январь 2019*

## Свободу Луису Корвалану!

*Моей бабушке Людмиле Александровне Добиаш*

Дом наш стоял на краю большой поляны. Построен он был где-то на Урале, и в нем жили другие люди. Потом, когда дом купил дед Яков, его разобрали, привезли сюда и заново сложили по бревнышку. Засадили сад яблонями, грушами да вишнями и поставили под деревьями большую скамейку.

Раньше, до того как возник поселок, тут было бескрайнее картофельное поле, разрезанное на две неравные части железной дорогой. И поляна, большая квадратная заплатка, на которую смотрели окнами полтора десятка домов, была частью этого поля, не застроенной по чистому недоразумению.

Мне иногда кажется, что с нашими соседями по поляне я познакомился еще до своего появления на свет – во всяком случае, в раннем детстве мне приходилось видеть их куда чаще собственных родителей.

Люди они были разные, жизнью жили обычной, особой дружбы с нами не водили, но и не враждовали. Кроме Полины.

Полина вообще ненавидела всех лютой ненавистью. Всех скопом и каждого по отдельности. Но мы никогда ее не обижали, ни разу не сказали худого слова, да к тому же были из тех немногих, кто покупал у нее молоко, не торгуясь. Покупала, конечно, бабушка, с ней Полина еще как-то разговаривала, хотя и ее едва терпела.

Полина была единственной, кто в нашей части поселка держал скотину. Коза паслась прямо перед домом, а корова уходила со стадом ранним утром и возвращалась к вечеру. Сначала у нее все покупали молоко, но очень быстро выяснилось, что она его немилосердно разбавляет и недоливает. Еще у Полины был муж Жора, тихий незлой пьяница, и взрослый сын Колька, которого всю его несчастную жизнь держали в психиатрической лечебнице на станции Столбовая.

Само это изящное имя – Полина – не очень-то ей шло. Она была тяжелая, коренастая, с большими красными руками. И взгляд у нее всегда был подозрительный и недобрый. Больше всего Полина любила сидеть в минуты отдыха на лавке у забора и наблюдать. По ее лицу было заметно, что увиденное ей сильно не нравилось, особенно жизнь, протекавшая за нашим забором. Ведь все у них, у этих, по мнению Полины, было не по-людски.

Вот взять, к примеру, хозяина, который Яков. Не выпьет толком, никогда не подерется, даже в праздник трезвым быть умудряется и под баян частушек не поет, да и в пивном зале «Сокол» у станции ни разу замечен не был, зато давеча вышел на поляну, на лавку уселся и давай старухе Прасковье и дочери ее Тоньке два часа о Достоевском рассусоливать, про «Братьев Карамазовых», а то те фильм посмотрели, да толком ничего не поняли. Вот он им объяснял, старался, просто соловьем пел, да уж больно все мудрено. А этим после его объяснений одно ясно стало: не про них писано, нечего и время тратить на пустое.

А уж как Яков работников нанимал! Над ним же весь поселок потешался. Понаберет распоследних ханыг, те наобещают с три короба, аванс потребуют, а после ищи их. А если и не сбегут с деньгами, так только чтоб он им еще обед выставил с водкой да с закусью. Выпьют, пожрут, попадают пьяные кто куда и поднимаются только ради опохмелки. А Яков, вместо того чтоб гнать взашей таких работников, по три раза на день им за белой в магазин бегают.

Людмила Александровна, жена Якова, та и вовсе чудная. Сядет, бывало, у себя в саду на скамейке и давай на гитаре бренькать. В небо смотрит, песен не поет, сама себя слушает. Спросили, она улыбается, мол, это просто музыка, для души, тут слов не надобно. Да какая там музыка, смех один, трень-брень. Тут собрала ватагу ребятишек. Желаю, говорит, театр детский

устроить, с детьми заниматься страсть как люблю. И принялась с утра до вечера с ними стихи читать да хороводы водить, а те у нее лишь грядки потоптали да ягоды пообрывали, вот тебе и весь театр.

Позапрошлой весной поляну засадить удумала. Хорошо, говорит, чтоб вместо голой земли у нас роща была, чтоб деревца листочками шелестели, а мы б смотрели на эту благодать и радовались. Одно слово – малахольная. И как пошла ямы под саженцы копать – экскаватор не угонится, так всю весну с утра до вечера с лопатой корячилась, не разгибаясь. И ведь не лень было. А саженцы, те целыми грузовиками покупала, вот же деньги девать некуда. Мишка Босых вечером со станции шел, крепко выпимши, чуть шею себе в одной такой яме не свернул. Ох он и ругался, сожгу, говорит, к хуям собачьим их халабуду, будут знать, как рабочего человека калечить. После, как протрезвел, поутих малость, потому как Людмила Александровна его самого частенько рыть подряжала, цельный рупь за яму платила, а поначалу банку с керосином схватил, еле удержали.

И чего только не делали потом с деревьями этими – растут подлюки. А вот елки вырубали подчистую еще на Новый год. Хоть какой прок. А с остальными никакого сладу. Полина поначалу выгоняла туда свою козу да корову, но только они веточки жевать примутся, Людмила Александровна всякий раз тут как тут, точно чуяла.

– Полина, дорогая, я вас очень прошу, не надо свою скотину в рощу загонять, деревца – они живые, давайте я вам сена куплю.

Вот же дура ненормальная. Подавись ты этим своим сеном. Живые они у нее. И как только язык поворачивается.

А как автобус пустили, они с Яковом у остановки лавку вкопали. Там одного только дерева полкубометра ушло, ежели не поболе. Да еще и работника подрядили, как обычно у них водится, сами же белоручки. Это зачем баловство такое – тратиться, доски эти километр на себе переть, неужто постоять нельзя? Мы, говорят, не только за-ради себя, мы и для других тоже. Может, нас за это кто добрым словом вспомнит. Ага, жди, авось дождешься.

А в доме у них, в самом углу – не поверишь, иконы висят, лампадка горит. Полина давно такого не видывала. У самой в избе все честь по чести, на стенке ковер с лебедями и карточка с Лениным. Да неужто у вас кто в Бога верит? А Людмила Александровна ей: мол, я и верую. Чудно. Вроде грамотная, книжки читает, а поди ж ты.

– Так, может, вы и в церковь ходите?

– Хожу, – говорит, – и в Москве стараюсь, и тут не забываю, правда, в Подольск ездить приходится, ближе храма-то нету. Вы же знаете, трое внуков на мне, поэтому не всегда к заутрене получается.

А сама сидит за столом и на машинке печатает.

– Что печатаете, Людмила Александровна, письмо, заявление али другой какой важный документ?

– Да нет, Полина, не письмо, – улыбается, – я новый рассказ сочинила, у меня уже много рассказов вышло, в «Огоньке», в «Семье и школе». Вот хочу снова им отослать, может, возьмут?

Ну, понятно теперь, откуда деньги у них. Там небось тыщи огромные платят в журналах этих. А Яков, тот вроде какой начальник в Москве, наверняка при большом окладе. Эх, деньги к деньгам.

С того лета Полина подняла им цену на молоко вдвое и разбавлять стала сверх обычного, а они все ходят да спасибо ей говорят, ну не дураки?

Зимой, когда они все вдруг на неделю в Москву съехали, решили денежки да золотишко в доме поискать. Все углы, все щели обшарили, даже в подполе землю мерзлую рыли, а ничего не нашли. Видать, с собой в город увезли, с них станется.

Спросила у Борисыча – он сосед Якова через забор: где же они деньжищи свои прячут? Тот лишь рукой махнул. Что ты хочешь, говорит, у евреев всегда денег навалом, а вот поди их найди, деньги эти. И сплюнул в сердцах.

Так вот они, оказывается, кто! Евреи! Борисыч в этом вопросе разбирается. Он в Египте недавно в командировке был, как раз когда там у них с евреями война приключилась. Еще Борисыч пояснил, что еврей у них вроде один Яков, и фамилия его – Быховский, самая что ни на есть еврейская. Людмила Александровна, та, кажись, русская, но коль она евреева жена, то и сама, стало быть, не лучше. Вот и ты, Полина, если б за еврея пошла, то сама бы еврейкой стала.

Тьфу, типун тебе на язык!

Пришла Полина домой, села за стол и крепко задумалась. Не зря, не зря люди евреев не любят. Не любят – значит, есть за что.

\* \* \*

Дача наша была для нас троих особенным местом. Обычно на даче живут только летом, а мы с бабушкой провели там четыре года. Когда ею вдруг овладела идея жить одной с детьми, в избе, подальше от суеты, от городского шума, она быстро собралась, взяла троих внуков в охапку и уехала прочь из Москвы. И там принялась учить нас всему тому, что ей было самой интересно. Вот поэтому мы бегло читали в четыре года, в пять знали наизусть Евангелие, а в шесть играли на гитаре.

Здесь, в углу сада, у мамы отошли воды, начались схватки, и хотя ее успели отвезти в Подольск, бабушка утверждала, что я родился именно тут, под смородиновым кустом. И мне эта версия очень нравилась. Наверное, еще и поэтому я всю жизнь чувствовал странное притяжение этого места.

Родителей своих мы видели редко. Зимой нас почти не навещали, а вот летом приезжали целой оравой. Бабушка не сильно жаловала эти визиты, по ее собственным словам, от добровольных помощников, идиотов обоего пола, была лишь суета, мешающая педагогическому процессу.

Как я понял позже, бабушка наша, пребывая в постоянном искреннем заблуждении, пыталась продолжать традиции народничества из ее любимых романов. Думаю, что поселок виделся ей этакой патриархальной деревней, населенной добрыми степенными крестьянами с их милой детворой. И, желая полностью слиться с ними, стать частью этой идиллии, бабушка изо всех сил приспособливалась, старалась говорить на простонародный манер, и даже платочек себе повязывала, словно деревенская бабка. Беда в том, что жители рабочей слободки, годами не просыхающие, бьющие смертным боем своих жен, и близко не были похожи на героев столь почитаемого бабушкой Толстого. Так же как и их отпрыски, для которых зарубить щенка или утопить котенка было плевым делом, уж точно не являлись некрасовскими крестьянскими детьми.

Для выполнения этой народнической миссии бабушке довольно скоро стало недостаточно нас троих, особенно когда выяснилось, что в поселке полно людей, не умеющих ни читать, ни писать. И она с горячим рвением взялась искоренять неграмотность среди местных жителей. Старухи приходили по очереди, с букварями под мышкой, усаживались за стол и заскорузлыми пальцами водили по страницам.

Обычно бабушка пристраивалась рядом и не сразу, давая время подготовиться, говорила очередной своей ученице:

– Ну что, Евдокия Васильевна, приступим?

Старуха тяжело вздыхала, кивала, долго разглядывала букву, терла ее пальцем, хмурилась, беззвучно шевелила губами, затем с превеликим трудом выдавливала:

– Кы!

– Очень хорошо, Евдокия Васильевна! – подбадривала бабушка. – Только не «кы», а «к»!  
– К! – немного подумав, соглашалась та и переходила к следующей букве. – А!  
– Правильно! – Бабушка с наслаждением прикрывала глаза. – А теперь эти две буквы вместе!

– Ка! – с превеликим трудом соединяла тайные знаки Евдокия Васильевна и, чувствуя, что не ошиблась, так как бабушка не возражает, переходила к третьей: – Р!

– Прекрасно! – отзывалась бабушка. – И что же вместе у нас получается?

Евдокия Васильевна брала долгую паузу, с сомнением качала головой, напряженно смотрела в букварь, собиралась с духом и наконец, будто ворона, каркала:

– КАР!

– Все верно, – кивала бабушка, – вот видите, как это просто! Дальше!

– Т! – ободренная, продолжала Евдокия Васильевна и тут же штурмовала новую высоту. – О!

– И вместе?

– КАРТО! – удивляясь самой себе, переходила на шепот та, уставившись на страницу и часто моргая, потом, после некоторого замешательства, вдруг отчаянно выстреливала: – Ш! К! А!

– И что же в результате??? – от возбуждения приподнималась со своего стула бабушка. – Если все это прочитать вместе, Евдокия Васильевна?

– КАР! КАРТ! ОШ! ШК! КАРТОШК! КАРТО! ШКА!

Вдруг потрясенная, впервые за все занятие оторвав взгляд от букваря, она поднимала глаза и выдыхала:

– КАРТОШКА!!!

И через секунду повторяла, как бы не веря:

– КАРТОШКА!!!

И темное ее лицо вдруг озарялось таким невероятным светом счастья, от всего сразу, но главное – от первого прочитанного в долгой и нелегкой жизни слова, что даже нам невольно передавался этот восторг, мы смеялись и аплодировали.

– Людмил Ляксандровна! – отчаянно взмахивая рукой, весело предлагала Евдокия Васильевна. – Давай еще раз почитаем!

А потом все пили чай.

Но самое острое мое любопытство вызывали странницы-богомолки. Это были особые старухи, они не так часто заходили, но благодаря какой-то их тайной почте знали, что в поселке недалеко от Подольска живет набожная женщина, и сама в Христа верует, и божьих людей привлекает. Выслушает, к столу позовет, на ночлег оставит, еще и на дорожку даст рублик-другой.

Ходили они по России-матушке, по пыльным дорогам, сбивая башмаки, по обителям да монастырям, вымаливая у Бога спасение души, с торбой за спиной, где лежала краюха, чистый платок да Святое Писание.

Некоторые останавливались у нас не по одному разу. Придет, бывало, такая, на пороге широко перекрестится да земной поклон отвесит:

– Ну, здравствуй, Людмила Александровна, спаси тебя Господь! Вот добралась до тебя с божьей помощью!

Бабушка тут же ахала, всплескивала руками, бросала все дела, и нас в том числе, кидалась к дорогой гостье, подвигая ей стул, затем бежала к печке, бак с водой нагреть, чтоб та ноги обмыла с дороги, и давай миглом на стол собирать. Угощение хоть и нехитрое, зато от всего сердца.

А богомолка, от еды разомлев, начинала мое самое любимое – истории из далеких странствий, по неведомым местам.

– Тут под городом Ярославлем, у женщины одной, Марьи Егоровны, в прошлом годе дочка померла. В церкви отпели, молитвы над гробом прочитали, все честь по чести. Месяца не прошло, как стала дочь-покойница матери во снах являться. Стоит в рубахе одной, белая – чисто полотно, и причитает: «Ой, мама, больно в груди у меня!» И так каждую ночь! И чего только не делали. И за упокой заказывали, и могилку святой водой окропляли, и к старице божией в Переславль ездили. Ничего не помогает. Как ночь, так является к Марье Егоровне дочка ейная и просит жалобно: «Спаси, мама, больно! Ой, больно мене в груди!» Делать нечего, в Ростов отправились. Там батюшка в храме служит, из старых, он советом мудрым многим людям помог. Послушал он Марию Егоровну, послушал и надолго задумался. Потом встал, подошел к иконе Архистратига Михаила, осенил себя знамением крестным, обернулся и говорит: «Разрывайте могилу!» И вышел вон.

Пришли на кладбище, с лопатами. Могилку разрыли, гроб вытащили, крышку подняли. А в гробу – батюшки-светы, лежит дочь-покойница, лицом белая, на груди змея черная свернулась да из нее кровь сосет!

Бабушка обожала всякий такой фольклор. И, чувствуя это, к ней часто шли соседи наши поведать о своем житье-бытье. И бабушка истории эти запоминала, а некоторые и в тетрадку особую записывала. Полина уж как нас не любила, все равно раз заявилась, причем, редкий случай, очень довольная. Оказалось, похвастаться, как сходила на свидание с Борисычем:

– Как дасть он мне кулаком по башке, так я сразу в канаву у колонки и кувырнулась! А этот ирод взял да как сверху навалился, дышать нечем стало. И только я вздумала крикнуть: «Караул!!!», он мне рот-то и зажал! Подол задрал, грудь стиснул, ноги выкрутил. И как начал он меня, Людмила Александровна, корячить!

Бабушка тогда, помню, ладонью глаза прикрыла и сказала:

– Алеша, милый, ступай в сад, собери яблочек.

У меня с Полиной были свои отношения. Когда она встречала меня на поляне, то сначала оглядывалась, нет ли кого, а потом шипела:

– А ну шшел отсюдова!

По малолетству я не проявлял особой строптивости и послушно уходил, но позже, лет в восемь, вдруг возмутился:

– Да что вы меня вечно гоните, здесь моя родина!

Полина, как всегда, оглянулась, затем нагнулась и в самое лицо мне выдохнула:

– Твоя родина – Израиль!

В тот же день я взял пугач, купленный накануне у старьевщика Мишки-татарина, и выстрелил Полининой козе в ухо. Бедная коза вырвала из земли колышек и с диким блеянием унеслась в неизвестном направлении. Ее нашли спустя сутки чуть ли не в Бутове, а сын Полины Колька, выпущенный на три дня из психушки на побывку, все это время рыскал с топором вокруг нашего участка, и меня не выпускали на улицу.

Израиль! Вот не успела мне мама объяснить про евреев, как с удивлением я понял, что еврейская тема не просто поднималась нашими соседями с завидным постоянством, а была из того небольшого, что по-настоящему их волновало. Борьба с мировым сионизмом в нашем лице настолько занимала аборигенов, как будто они не жители скучного рабочего поселка, а передовой отряд палестинских беженцев на юге Ливана.

Я находил в этом много странного. К примеру, нас было трое: Ася, я и тихий, слабенький Дима, Димочка. Все мы были внуками деда Якова. Но почему-то груз еврейства между нами распределился крайне несправедливо и неравномерно. Главной еврейкой всегда считалась Ася. Вероятнее всего потому, что из нашей троицы у нее был самый длинный нос. Дальше шел я, причем с большим отрывом. В редкие минуты хорошего настроения сосед через забор Борисыч

так и говорил мне, приобняв и обдавая перегаром: «Хороший ты парень, Алешка, на русского похож!» А вопрос национальной принадлежности Димы и вовсе никого не интересовал.

Дети наших соседей не собирались отставать от своих родителей, при любой возможности моментально вспоминая о нашем происхождении, хоть и не всегда к месту.

Как-то играли мы на улице в вышибалочку. Мне было шесть, Асе семь. Ася, пытаясь увернуться от мячика, споткнулась, шмякнулась со всего маху на дорогу, в том самом месте, где из земли торчал кусок ржавой проволоки. Когда она поднялась, зажав распоротую ногу, у нее между пальцами хлынула черная кровь и ручьем полилась на серую землю. Мне бы помочь ей, позвать на помощь, но я просто оцепенел от ужаса. Ася неловко заковыляла, оставляя на пыльной дороге страшные черные лужицы, которые словно ртуть разбегались во все стороны. Со стоном она отступала к нашей калитке, закусив губу, изо всех сил пытаясь сдерживать слезы, а я продолжал стоять столбом, не в силах сдвинуться с места. И как сквозь вату услышал:

– А почему Ася плачет, ей больно?

Это спрашивала крохотная девочка, имени которой я не помнил.

– Еврейка, потому и ноет! – радостно захохотал Сережа Босых, наш друг и сосед, с которым бабушка занималась едва ли не больше, чем с остальными. – Чего встали, давай дальше играть!

Когда Асю увезли в Подольск зашивать, я вышел за калитку и осторожно посмотрел на дорогу. Кровь засохла и впиталась в землю. А у Аси с той поры шрам на всю жизнь.

К лету семьдесят седьмого я уже покуривал, и мне продавали сигареты в ларьке за железнодорожной линией. В тот год мы с Димой решили соорудить шалаш на поляне у места для костра. Я хоть и воображал себя взрослым, но оказалось, что детская тяга к подобной ерунде еще не иссякла. Мы даже сложили рядом печку из дерна и кирпичей и стали проводить там почти все время, варили на печке супы из пакета, необычайно радуясь и этой нехитрой стряпне, и этой вольной жизни в шалаше.

Однажды поздно вечером, когда совсем стемнело, мы сидели и терпеливо ждали, пока прогорят дрова, чтобы закинуть в угли картошку, когда на свет вдруг вышла Полина. Кряхтя, переваливаясь, она подошла совсем близко к костру и, заслоняя лицо рукой от летевших искр, разглядела нас, сидящих там. Состроив, по своему обыкновению, пакостную рожу, она вдруг обратилась к Диме:

– Где отец-то твой? Давно не видеть!

Тот, не глядя на нее, не спеша поковырял прутом угли, с минуту помолчал, затем нехотя ответил:

– В командировке.

Дима вообще был неразговорчив.

– Надо же! – с притворным удивлением вскинула брови Полина, подоткнув кулаками пузо. – Это что ж за командировка такая, ведь с прошлого года носа не кажет!

Димин отец, мой дядя Вова, Владимир Яковлевич Быховский, был известным биохимиком и ездил в командировки часто.

– И когда же он вернется, – продолжала допытываться Полина, – из командировки этой? Папу с мамой провести?

В ее тоне чувствовалась явная насмешка.

Дима ничего говорить не стал, просто пожал плечами. Полина продолжала сверлить его недобрый взглядом, демонстративно не обращая на меня никакого внимания, а меня так и подмывало засветить ей картофелиной в глаз. Она потопталась еще с минуту и наконец пошла восвояси.

И через секунду из темноты до нас донесся ее голос, не скрывающий торжества:

– В командировке!!! Мы здесь тоже небось грамотные! Радиву слушаем! На Корвалана его поменяли, вот что!!!

Уже никого кроме меня не осталось, кто был при этом разговоре. А недавно ушел из жизни нестигаемый Владимир Буковский.

Дочь Луиса Корвалана, генерального секретаря компартии Чили, того самого, на которого обменяли тогда Буковского, училась потом в той же школе, куда ходили мы с Асей.

Дачу нашу давно продали. С каждым годом кварталы многоэтажных домов все ближе подступают к поляне, которая, хоть и существует еще, доживает последние дни. И всякий раз, когда там оказываюсь, я подхожу к заветному месту в углу у забора, где до сих пор растет смородиновый куст, под которым я родился.

*Москва, ноябрь 2019*



## Отражение в зеркале

С прискорбием вынужден признаться, что я никогда не мечтал о высоком. Видимо, именно в этом кроется основная причина моей заурядности. Потому как неординарные люди и цели ставят себе соответствующие. А я даже в раннем детстве не стремился быть ни летчиком, ни космонавтом, и это несмотря на то, что взрослые, буквально через одного, навязчиво лезли с подобной перспективой. Чуть что, меня подбадривали:

– Вырастешь – космонавтом станешь!

Хотя нужно сделать скидку на те времена. Тогда запуски космических кораблей были событием важности невероятной, о них писали в газетах, показывали по телевизору, а по радио с утра до вечера заводили песню:

Я – Земля.  
Я своих провожаю питомцев —  
Сыновей,  
Дочерей.  
Долетайте до самого Солнца  
И домой возвращайтесь скорей!

Космонавт – о чем можно было еще мечтать? По этой причине взрослые пребывали в наивной уверенности, что от такого будущего я конечно же просто обязан прийти в восторг. Но почему-то меня это абсолютно не трогало. К Солнцу мне лететь совсем не хотелось, тем более к тому времени я уже читал мифы Древней Греции и хорошо помнил, чем это все закончилось для Икара.

Да и прочие героические и романтические профессии – моряк, геолог, разведчик и полярник – меня никогда не соблазняли. Читать я про это любил, но на себя не примерял.

Лишь однажды я дал слабину. Тетя Юля, сестра моего отца, где-то услышала, что на Новый год нужно обязательно записать на бумажке желание и успеть спалить этот клочок на свечке, пока бьют куранты. И якобы тогда оно непременно сбудется. И как у нее водилось, она тут же стала требовать от всех следовать этому ритуалу. Зная тетю Юлю, никто ей особо не противоречил. Откажешь – в лучшем случае пожмет плечами и посмотрит как на слабоумного, а в худшем – могла и высказаться.

Нам с Асей было разрешено по малолетству записать желания заранее. Ася уселась за дедушкин стол и четверть часа старательно выводила нечто на тетрадном листочке. Из нас двоих писать умела только она. – Так, теперь ты! – нетерпеливо сказала она, завершив свое и положив перед собой новый листочек. – Говори, о чем мечтаешь?

Я совершенно растерялся, мечты мои были столь ничтожны, что даже в свои пять лет я прекрасно понимал, как несолидно с этим лезть к Деду Морозу.

– Не знаю, – честно сказал я, – не знаю, о чем мечтаю.

– Прекрати немедленно! – тут же нахмурилась Ася. – Все о чем-нибудь мечтают!

Она сейчас говорила точно так же, как и ее мама, тетя Юля. И мне сразу стало неловко. Но я решил уточнить на всякий случай, так как всегда брал с Аси пример:

– А сама ты что у Деда Мороза попросила?

Ася взяла в руки свой листочек и с выражением зачитала:

– «Дорогой Дед Мороз! Когда я вырасту, очень хочу стать принцессой и играть на гитаре!»

Ни то ни другое не показалось мне подходящим. Но чтобы не задерживать Асю, а она всем своим видом демонстрировала нетерпение, я промямлил первое, что пришло в голову:

– Хорошо! Напиши: «Дорогой Дед Мороз. Я очень хочу стать танкистом!»  
Так Ася и сделала.

Долгие годы спустя, особенно когда наступил призывной возраст, я только и делал, что шептал про себя: «Дедушка Мороз, миленький, забудь об этом, я тогда пошутил!»

В дальнейшем я был куда осторожнее в своих желаниях. Мне хотелось вещей обыкновенных, а именно: иметь полное собрание сочинений Фенимора Купера, носить в кармане игрушечный пистолет, такой, чтоб был похож на настоящий, модель парусного корабля с пушками и съездить в Ленинград.

Но главной моей целью многие годы было дело легкоосуществимое, вероятно и самое массовое, можно сказать – рутинное. Я очень хотел стать пионером.

Все потому, что я рано начал ездить в пионерские лагеря, оказавшись там впервые в шесть лет. Всегда хотел спросить родителей, о чем они думали, когда отправляли меня в такое место, в таком возрасте, да все не нахожу времени. И тогда, в первый мой сезон, еще в автобусе, что вез нас в этот «Орленок», я остро, причем впервые в жизни, ощутил собственную неполноценность. Это когда мальчики и девочки принялись считаться, кто в какой класс перешел.

– Я во второй!

– А я в третий!

– И я в третий!

– И я!

– А я во второй!

– Я в третий!

И так далее.

Когда очередь дошла до меня, пришлось честно сообщить:

– Я перешел в первый класс!

Издавательский хохот был мне ответом.

Дурак, кретин, придурок, посмотрите на него, нельзя в первый класс перейти, малявка, тупица, идиот. Таким образом, мне достаточно рано пришлось узнать, что такое коллективная травля и дискриминация по возрасту и месту в стае.

Мне бы им тогда сказать, что я перешел во второй класс, но только музыкальной школы, хотя не факт, что это изменило бы их отношение.

Буквально за пару первых дней стало понятно, что в пионерлагере все дети делятся на две категории: пионеры и малыши. И не важно, в какой класс ты перешел, во второй или даже в третий. Значение имеет лишь пионерский галстук у тебя на груди. Потому как малышей – не пионеров, а в большом лагере это обычно два-три отряда – раньше всех загоняют спать, не пускают на танцы, не разрешают плавать в бассейне, не отправляют в поход, а в бане заставляют мыться в присутствии вожатых.

А мне даже больше всех этих походов с танцами хотелось красиво вздымать руку в пионерском салюте. Этот жест казался мне исполненным невероятной лихости и изящества. Когда дважды в день, на утренней и вечерней линейке, отличившихся вызывали на подъем и спуск флага, то перед тем, как взяться за тросик, к которому крепился флаг, эти ребята так эффектно отдавали салют, что просто помереть. Но право на это имели исключительно пионеры, туда принимали только в третьем классе, а я осенью лишь в первый должен был пойти. И эти три года ожиданий казались мне вечностью.

Лагерь находился рядом с селом Вороново, когда-то там родился мой прапрадед, которого с малых лет определили камердинером к графу Шереметеву. И село это долгое время было нашим родовым гнездом. И хоть в середине девятнадцатого века основная часть семьи переехала в Москву, в усадьбу Шереметевых на Воздвиженке, мама тем не менее каждый год проводила в Воронове летние каникулы у дальней родни.

В первый же родительский день в «Орленке» мама взяла меня под расписку, и мы отправились навещать ее тетку и двоюродную сестру. Первым делом у них в избе я увидел свое отражение в старом зеркале. Зеркало стояло на полке, которая была застелена белой кружевной салфеткой, а рядом стоял большой будильник. Из зеркала на меня смотрел какой-то незнакомый мальчик, в белой рубашке, с тоненькой шейкой и с несчастными глазами.

Я тут же представил, как через три года увижу именно в этом зеркале свое другое отражение. Я буду взрослый, веселый, довольный. А главное – на моей груди будет развешаться пионерский галстук, и это будет так красиво, с ума сойти!

С той поры, неизменно летом – а в «Орленок» я потом ездил множество раз, – мы с мамой приходили в этот дом, где всякий раз я в этом зеркале придирчиво разглядывал собственное отражение. И каждый год приближал меня к заветной цели.

Короче говоря, находясь в том возрасте, когда нормальные дети мечтают о том, чтоб стать самыми лучшими, самыми смелыми и самыми сильными, я всего-навсего хотел стать таким, как все.

Но и эта моя скромная мечта чуть было не накрылась. Причем из-за моей ксенофобии.

В нашем огромном доме на Фрунзенской набережной пара подъездов были сплошь заселены иностранцами. Больше всего было индийцев, они вечно сбивались целыми таборами, и двор временами походил на Бомбей. Неслучайно первый мальчик, с кем я подрался, оказался индийцем. Жили во дворе и немцы, и корейцы, и поляки, и венгры. Первым красавчиком считался болгарин Митко Георгиев, он нравился сестре Асе и пытался отобрать у меня ножичек. А самыми колоритными были сыновья одного сирийского коммуниста, которого турнули с исторической родины за его левые убеждения. Сыновей звали Саид, Надер и Фараш. Младший из них, Саид, научил меня ругаться матом. Он еще куче народа передал эти важные знания, причем бескорыстно.

Вьетнамец Бинь жил в угловом подъезде, он был на год меня старше и учился с Асей в одном классе. Мне он сразу не понравился. Тогда на перемене все рассматривали самую любимую мою книгу «Корабли-герои», разложенную на парте, а Бинь подошел вразвалочку, руки в карманах, глянул на фотографию легендарного «Варяга» и презрительно бросил:

– Подумаешь! Вот я у американцев корабли видел! Не то что этот!

Ничего себе! Американцы же воюют с народом Вьетнама, об этом везде говорят и в газетах пишут. Лишь недавно ученики нашей школы, все до единого, принесли из дома по пятьдесят копеек. На эти деньги были куплены игрушки для вьетнамских детей и отправлены в посольство с приветственным письмом. А Бинь окопался тут в Москве и американские корабли нахваливает! Вот ведь жук!

Вот из-за этого Биня все и приключилось. Во втором классе я начал собирать военные машинки. Маленькие, железные, защитного цвета. Иногда их продавали в «Тимуре», детском магазине, на первом этаже нашего дома. И чтобы не пропустить этот момент – а то их быстро раскупали, – приходилось забегать туда чуть ли не ежедневно. Когда машинки появлялись на прилавке, я до вечера сидел дома в засаде, набрасываясь на родителей, как только они приходили с работы, чтобы слупить с них денег. И в случае успеха стремглав летел в магазин вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.

За неполный год у меня собралась целая коллекция из бронетранспортеров, танков, грузовиков, вездеходов, ракетных установок, и дома я разыгрывал целые баталии на паркете.

Однажды я притащил один из броневичков в школу и показал ребятам на перемене. Бинь протиснулся, посмотрел, повертел в руках и сказал:

– Давай меняться!

Вид у него был при этом не внушающий доверия, поэтому я ничего не ответил, забрал у него броневичок, но после школы он меня перехватил, и опять за свое:

– Ты мне броневики, а я тебе за него петарды!

А так как я не знал, что такое петарды, Бинь вытащил из кармана красную картонную штучку типа хлопушки, только меньше.

– Вот, гляди! У вас таких нету!

И тут же, недалеко от балетного училища, Бинь продемонстрировал петарду в деле. Он достал коробок спичек, поджег крохотный фитиль, бросил петарду на снег, и та с громким хлопком разорвалась. Бинь знал, на что меня купить. Больше всего на свете мне нравилось поджигать, а еще больше, чем поджигать, мне нравилось взрывать. А уж взорвать, запалив фитиль, как делали партизаны, поджигая бикфордов шнур динамитной шашки в фильме «По следу Тигра», – это вообще было пределом мечтаний.

Бинь это почувствовал.

– Дам десять петард за твой паршивый броневик! – сказал он с нескрываемым высокомерием. – Пошли, получишь!

И ничего не паршивый. Он был отличный, с круглой башней, с пушкой, и на восьми колесах. Конечно, больно жирно получить такой всего за десять петард, ну да ладно.

Мы дотопали до нужного подъезда, поднялись на этаж, Бинь ключом открыл дверь квартиры, приложил палец к губам и, протянув руку, шепотом приказал:

– Давай!

Я послушно отдал ему броневичок. Бинь кивнул и спиной стал отступать в темноту прихожей. Он прикрыл за собой дверь, оставив лишь небольшую щель, в которую я принялся подсматривать. В комнате, с книгой в руках, на плетеном стуле сидел старый худой человек в круглых очках с жидкой бородкой. Если бы я не знал, что Хо Ши Мин умер тремя годами ранее, я бы подумал, что Бинь – тайный сын вождя вьетнамского народа.

Я увидел, как Бинь прошмыгнул на кухню, достал из ящика большие ножницы и, подпрыгнув, ловко срезал одну из петард, что сотнями были развешаны там под потолком, будто новогодние гирлянды. Он просунул руку с этой петардой в щель и все так же шепотом произнес:

– Остальное потом! Иди, а то отец ругаться будет!

И, притворив дверь, заскрежетал замком.

Я немного постоял на площадке, в некоторой растерянности разглядывая эту одну-единственную петарду вместо обещанных десяти. Нужно было не стоять, а звонить, а еще лучше дубасить ногой в дверь, требовать полного расчета, но, чего доброго, отец Биня, так похожий на Хо Ши Мина, выйдет и действительно ругаться начнет. К тому же Бинь сказал «Потом!», значит, потом.

Петарду я тут же взорвал во дворе, не зря же я всегда с собой спички таскал. На этот раз эффект не показался мне таким сокрушительным, ну хлопнуло и хлопнуло. От копеечных новогодних хлопушек шума было и то больше. Задрав голову, я увидел, как Бинь в окне пятого этажа покрутил пальцем у виска. Да сам дурак.

Утром я подкараулил Биня перед школой, заступил ему дорогу и потребовал:

– Гони остальное!

Он спокойно меня обошел и бросил через плечо:

– С тебя и одной петарды хватит!

– Тогда отдавай броневик! – снова возникнув перед ним, задохнулся я от возмущения, вот не зря чувствовал, что не надо было с ним связываться. – Нечего обманывать!

– Хорошо, отдам! – невозмутимо ответил Бинь. – Я тебе броневик, а ты мне петарду!

Вот оно, азиатское коварство! Он ведь прекрасно видел, что я ее сразу же взорвал.

Явно наслаждаясь моей растерянностью, Бинь издевательски улыбнулся. И, понимая, что мне уже нечем крыть, я отбросил портфель и со всей силой дал ему кулаком в зубы. Бинь отлетел в сугроб, но быстро вскочил и ответил мне тем же. Он был жилистым, к тому же на год старше, поэтому справедливой и мгновенной расплаты не получилось. А тут еще старше-

классники принялись нас разнимать. Мало того что он меня так подло обманул, я еще и по морде ему толком дать не смог. И, ослепленный отчаянием, в тот момент, когда нас уже почти растащили, я напоследок лягнул Биня ногой и завопил что есть мочи:

– ах ты, вьетнамская РОЖА!

Это вырвалось у меня как-то само по себе. Да, Бинь – сволочь, но вьетнамцы тут ни при чем, а у дедушки был аспирант Лай, вьетнамец, хороший человек, он мне даже марки присылал.

Но слово, как известно, не воробей. Мой пронзительный крик услышала пионервожатая школы Надя, студентка-заочница, она как раз пробегала мимо. И ей тут же стало дурно. Она покачнулась, схватилась за ствол дерева и, оседая, медленно повернулась ко мне.

– Ты!!! – Задыхаясь, она все никак не могла подобрать нужного слова. – Ты!!! Да знаешь ли ты, как мужественно сейчас сражается вьетнамский народ с американскими империалистами!

Бинь тут же приободрился, гордо вытянувшись по стойке смирно, изображая готовность к тяжелым боям с американским империализмом, будто не он нахваливал их боевые корабли.

А все остальные, окружив место действия плотным кольцом, смотрели на меня с гневом и осуждением.

– В общем, так! – немного придя в себя, отчеканила Надя. – Твое счастье! Был бы ты комсомольцем, ты уже завтра бы вылетел из комсомола! Был бы ты пионером, с тебя бы сегодня при всех сорвали галстук!

Она подошла ко мне, хорошенько встряхнула, так что у меня лязгнули зубы, и проговорила:

– Но я тебе обещаю! Если ты и вступишь в пионеры, так только через мой труп!

И, повернувшись ко мне спиной, устремила к школьному крыльцу, всем своим видом демонстрируя негодование. Остальные отправились следом, тут же потеряв ко мне интерес. Бинь, насмешливо оглядываясь на меня, с видом победителя поспешил за ними. А я остался один в школьном дворе, униженный и оскорбленный, в одно мгновение пустив под откос свою мечту.

Пионервожатая Надя не забыла своего обещания. Хотя меня и приняли в пионеры, безо всякого ее трупа – а тогда принимали всех подряд без разбора, – она добилась, что мое вступление в эту славную организацию состоялось в самую последнюю очередь, и это конечно же было позором.

Дело в том, что тут существовал свой табель о рангах. Первыми двадцать второго апреля, ко дню рождения Владимира Ильича, принимали самых лучших, самых достойных, отличников и общественников. Это священнодействие устраивалось в музее Ленина и проходило необычайно торжественно. По его завершении уже полноправные члены детской коммунистической организации ходили по музею и осматривали экспозицию, в том числе и костюм самого вождя мирового пролетариата, продырявленный отравленными пулями эсерки Каплан.

Во вторую очередь девятнадцатого мая, в День пионерии, принимали всех остальных. Тысячи и тысячи детей свозили на Красную площадь, где и устраивалось массовое посвящение.

И только уже после всех принимали отъявленных хулиганов, безнадежных двоечников и дебилов. Происходило это буднично, в школе, обычно в актовом зале, а то и просто в пионерской комнате.

Я стал пионером в июне, в последние дни перед каникулами. Вместе со мной в тот день принимали еще двоих. Мальчика-идиота по фамилии Покровский, с конца первого класса он находился на домашнем обучении, являясь в школу раз в четверть под конвоем мамы и бабушки для выставления в табель троек по всем предметам. К нашей парочке присовокупили еще одного парня, он с родителями недавно приехал в Москву из другого города, а по прибытии умудрился на месяц заболеть.

Что он, что Покровский не могли запомнить простой пионерской клятвы, поэтому мне пришлось отдуваться за троих. У меня это получилось хорошо, голос мой был столь звонок, сколь и искренен.

Я шел по улице, расстегнув школьную курточку, галстук трепетал на ветру. Весь путь до дома я пытался поймать заинтересованные взгляды прохожих, но всем явно было не до меня.

На следующий день мой одноклассник Игорь пригласил меня на день рождения. Это было чуть ли не первое приглашение в моей жизни, и я немного растерялся. Особенно когда мама, узнав об этом, бросила: – На день рождения обязательно нужно с подарком идти!

Действительно, хорошо бы Игорю что-то такое подарить, особенное. Может, я его и не увижу больше. Дело в том, что мы с родителями должны были переехать на новую квартиру, и наступали последние дни и в этой школе, и в этом районе. Уже и вещи были собраны.

И за десять минут до назначенного часа я вдруг понял, что именно я ему подарю.

Игорь с родителями жил в коммуналке, в соседнем доме, под самой крышей, на последнем пятнадцатом этаже. Лифт шел долго, и огромный мешок, куда я сложил всю свою коллекцию военных машинок, успел оттянуть мне руки. На какое-то мгновение мне стало жаль все эти танки, броневики и вездеходы. Все-таки два года собирать, ежедневно забегать в «Тимур», устраивать бесконечные игры. И потом, это были единственные мои ценности. Я любил эти машинки больше всего на свете. Но ведь Игорь – мой друг. А главное, у меня осталась еще одна машинка. Первая, купленная мной два года назад. Вездеход на резиновых гусеницах. И я снова именно с этого вездехода начну собирать коллекцию. Буду из новой квартиры ездить в большой «Детский мир», говорят, эти машинки там тоже бывают.

Первый человек, с кем я столкнулся в прихожей у Игоря, был Женя Барановский. Это ему я на пару дней отдал свой вездеход, пусть поиграет. Поэтому он не попал с остальными машинками в мешок. При моем появлении Женя потянул меня за рукав и зашептал в ухо: – Слушай, я твой вездеход Игорю подарил. А то у нас дома нету ничего.

Женя был двенадцатым ребенком в семье.

Когда я вручил Игорю набитый сокровищами мешок, он малость обалдел и битый час расставлял машинки на полу, забыв про гостей и про праздничный торт. Потом после застолья все отправились гулять, а Игорь решил взять машинки с собой. И мы до самой темноты во дворе играли в войну уже его танками, броневиками и ракетными установками. На следующий день я уехал в пионерский лагерь и больше никогда Игоря не видел.

В то лето я провел в «Орленке» все три смены. За несколько дней до отъезда мне стало известно, что родители мои разводятся. В конце августа за мной приехала мама. И мы с ней отправились в Вороново навестить родственников. Зеркало в белой раме стояло на той же полке, застеленной все той же белой кружевной салфеткой. Все было именно так, как я себе представлял бесконечное число раз. Алый галстук был повязан на белой рубашке красивым узлом. Но никакой радости я почему-то не почувствовал.

*Москва, январь 2021*

## Единичка

Много лет спустя я рассказывал, что все это случилось из-за того, что я решил прогулять контрольную, пустяковую контрольную по английскому. Хотя что мне английский.

Англичанка наша была хоть и скучная, но вовсе не зверь. Она даже третьегоднику Турочкину двоек не ставила, а ведь если Турочкин что и знал, так это цены на портвейн. Это тебе не Анна Андреевна, математичка. Анна Андреевна, та, если вцепится, живым не выпустит. Вот уж кто двойки раздавал. Мало того что она это делала с какой-то с неслыханной щедростью, так еще после обязательно дневник требовала. Ей было недостаточно просто двойку нарисовать, она еще три раза эту пару жирно обводила, чтобы родителям сразу в глаза бросилась. И никакие уловки на нее не действовали. Но всегда какой-нибудь особо наивный начинал канючить:

– Ой, а я дневник дома забыл!

С Анной Андреевной такие номера никогда не проходили, она эти хитрости на раз просекала:

– А голову ты дома не позабыл? Марш к директору!

И лично волокла к директору на первый этаж. Наверное, из-за нее я так и не полюбил математику.

Короче говоря, контрольная по английскому была лишь предлогом. На нее можно было идти смело, не боясь за успеваемость. Главное – книжка эта.

Дело в том, что дядя Вова дал мне накануне «Похитителей бриллиантов». Всего на три дня. Дядя Вова редко дает книги домой почитать, но тут вдруг сделал исключение. Правда, записал в специальную карточку, как в библиотеке, что я должен к концу недели книжку эту вернуть.

– Признайся, Алеша, ведь ты только и думаешь, как бы меня наколоть. Решил, что дядя уже ничего не соображает, даст тебе книжку, да потом забудет. А дядя твой, он не дурак. Дядя твой – доктор наук.

Книга оказалась что надо, о приключениях в Южной Африке, я ее в метро как открыл, так чуть станцию свою не проехал. Вот мне тогда и подумалось: эх, если бы не школа, можно было бы весь день читать, не отвлекаясь ни на что. А у меня еще рубль был, поэтому я уже представил, как сгоняю утром в магазин, куплю там полкило косхалвы, устрою себе пир на весь мир и книжку буду почитать.

Рубль у меня остался с макулатурных денег. Нынче на макулатуре все просто помешались, когда за нее книжки стали давать. Двадцать кило сдашь и на талоны можешь в магазине приобрести дефицитную книжку. Меня макулатурой Исаак Наумович снабжал, сосед дедушки с бабушкой по дому на Грановского.

Исаак Наумович выписывал уйму газет, вся его квартира была завалена газетными пачками. Еще он постоянно слушал «Голос Америки» и Би-би-си, правда, когда я заходил к нему за макулатурой, Исаак Наумович приемник тут же выключал, но так как он был малость глуховат, то радио всегда орало на весь подъезд.

За пару месяцев я перетаскал все его старые газеты в пункт приема вторсырья на Арбате. Там, помимо талонов, за макулатуру еще и деньги давали, две копейки за килограмм. Деньги я честно пытался отдать Исааку Наумовичу, но тот говорил:

– Оставьте их себе, молодой человек! В вашем возрасте надо развлекаться.

Чтобы не пойти в школу, мне была необходима температура, пусть и совсем малюсенькая. Сойдет и тридцать семь ровно. Тогда я с чистой совестью сказался бы больным. Больным быть хорошо. Тебя все жалеют, вкусно кормят и дают спать сколько захочешь. И хотя я малость

покашливал, в горле першило, без температуры этого было явно недостаточно, чтобы убедить маму оставить меня дома.

Но приятель мой, Андрей Фишов, лишь только я ему поведал о своем замысле, заверил, что легко поможет усугубить мое легкое недомогание. Он меня подробно проинструктировал, и я все сделал, как он велел. Андрюха был парень опытный в таких делах, мы хоть и были ровесниками, но выглядел он да и вел себя совсем как взрослый, уже вовсю курил, рассказывал, что и пиво пробовал, и часто заводил мне по телефону разную музыку, что была на магнитофоне старшего брата.

И вот после уроков я забежал домой, скинул куртку, облачился в хлипкий свитерок и отправился на улицу. Выполнять предписания. Несмотря на середину октября, холод стоял лютый, ветер сбивал с ног, и я с удовлетворением чувствовал, как коченею с каждой секундой. За полчаса, воображая себя Амундсеном, отважно шагающим к полюсу через торосы, я добрался до метро, купил, как велел мне Андрюха, мороженое, схватил негнушимися пальцами вафельный стаканчик и принялся грызть его большими кусками. От пломбира сводило зубы, и он ледяными камнями падал в холодные внутренности. И хотя Андрюха советовал слопать по крайней мере два мороженых, я решил обойтись одним, да и денег было жалко.

Едва я двинулся в обратный путь, как по заказу началась метель. Снежная крошка летела в лицо, забивалась в глаза и свитер, от холода ломило кости, а я все пытался определить, как там у меня дела с температурой, с досадой отмечая, что вместо того, чтобы нагреться, я, наоборот, стремительно остываю.

Зато всего час спустя кашель был уже настоящий, внутри разнообразно хрипело, горло драло. Андрюха еще советовал завернуться в мокрую простыню и постоять так минут пять на балконе, но, честно говоря, было лень. И так сойдет.

Вечером при маме я старался принять максимально несчастный вид, все время надрывно кашлял, театрально прикладывая руку к груди, и с удовлетворением отмечал мамино нарастающее беспокойство. Все шло по плану.

Утром, едва продрав глаза, я набрал побольше воздуха, чтобы радостно сообщить: «Мам! А я заболел!» Но вместо этого издал какой-то странный лай. Тогда горячей рукой я пощупал горячий лоб и ничего не понял. Затем появилась мама с градусником. Сначала мы подумали, что градусник сломался, так как он показывал сорок и пять. Мама сбегала к соседям за другим градусником, но тот показал сорок и семь.

Короче говоря, я перестарался.

Потом все закрутилось-завертелось. Врачи, неотложка, скорая. Докторов было так много, что мне в моем горячечном сознании стало казаться, что они стоят в длинной очереди на лестнице, чтобы меня посмотреть и послушать. Последний доктор был с большой черной бородой и черными грустными глазами. Он сказал маме:

– Нужно его в больницу как можно быстрее. Ложный круп, тут и до асфиксии недалеко.

И хотя я был в полузабытьи, но немного встрепенулся от этого слова – «ложный». Как этот доктор догадался, что я не болею по-настоящему, а лишь прикидываюсь по рецепту Андрюхи Фишова? Но скоро сил не осталось даже думать. Только когда меня перекладывали на носилки, я было потянулся к полке, чтобы взять с собой «Похитителей бриллиантов». Но доктор мягко отвел мою руку и покачал головой:

– Ты пока отдохни от чтения!

И грустно-прегрустно вздохнул.

Тут я закрыл глаза, и когда открыл, была уже больница, я сидел на белой кушетке в белой комнате, и мне не хватало воздуха. Все бегали вокруг, но легче от этого не становилось, а мама страшно волновалась. Тогда кто-то главный распорядился:

– Срочно его в интенсивную!



В этой интенсивной бегали куда меньше, а мамы уже рядом не было, не пустили. Меня тут же стали колоть и за полчаса искололи всего. Я жуть как не любил уколы, но тут почему-то и бровью не повел. Дышать стало чуть легче, но что-то все равно мешало воздуху проходить.

Тогда тот главный, что велел меня сюда доставить, приказал остальным:

– Приготовьте все для интубации!

Те мгновенно притащили какие-то трубки из рыжей резины, жуткую металлическую штуку, похожую на серп, и разложили все это на тумбочке рядом.

Меня заставили сидеть над паром, а медсестра стояла рядом и приговаривала:

– Давай, миленький, старайся, дыши, а то будем тебе трубку засовывать.

Я старался, косил глазом на тумбочку и со страху и правда задышал.

А потом я хоть и сидя, но уснул и даже не реагировал, когда меня кололи и меняли капельницу. В этой интенсивной я пролежал еще пару дней, затем меня перевезли на первый этаж в особую палату – бокс.

В боксе я находился совсем один, посещения там были запрещены, разрешались только передачи. Со мной все оказалось не слава богу, до кучи нашли еще и воспаление легких, а посему выписывать не собирались. Тоска смертная, только и оставалось, что слоняться из угла в угол, спать да читать. Самое обидное, что «Похитителей бриллиантов», из-за которых все и случилось, мама передать не решалась, чтобы дядя Вова не переживал.

И так проходили дни, один похожий на другой, пока не появился Федя.

Это я потом узнал, что он Федя. А тогда нянька принесла после обеда какого-то малыша, плюхнула его на кроватку и отправилась по своим делам, грохнув дверью. Он сидел-сидел, растерянно моргая ей вслед, и вдруг горько заплакал.

– Эй! Чего реवेशь? – спросил я, немного растерявшись. – Тебя как зовут?

Он вздрогнул от неожиданности, повернулся ко мне и тут же перестал плакать. Вопрос мой остался без ответа, еще бы, совсем маленький паренек, ему, наверное, год был, ну или чуть больше.

Я совсем не знал, как разговаривать с такими карапузами, и на всякий случай решил его развлечь. Надул щеки и вытаращил глаза. Он вытер рукой слезы и с большим интересом уставился на меня сквозь прутья кровати.

Затем я показал ему язык. Он улыбнулся и потянулся ко мне. Я встал, подошел к кроватке и взял его на руки. Он потрогал меня ладошкой и вдруг засмеялся. Так мы подружились с Федей.

И жизнь моя сразу поменялась. Утром Федя просыпался с петухами, вставал в своей кроватке и караулил, прямо как собачка. Смотрел на меня не отрываясь и лишь только замечал, что я открыл глаза, тут же радостно улыбался, демонстрируя два нижних зуба и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Я подхватывал его на руки и тащил умываться. Потом подносил к окну, он любил смотреть в окно, а когда видел ворону или голубя, тыкал в стекло пальчиком. Мы играли без устали, я много читал ему вслух, все подряд, от Жюль Верна до Конан Дойля. Я даже организовал кукольный театр. Натягивал вдоль койки простыню, а куклами служили скомканные наволочки. В репертуаре нашего театра были сказки, проверенные временем, – «Три медведя», «Репка», «Теремок». К тому же я отчаянно импровизировал, у меня там то Карлсон появлялся, то Чиполлино, то Дед Мороз.

Честно говоря, Федю сюжет интересовал мало. Больше всего ему нравилось, когда я скрывался за простыней, а потом вдруг неожиданно показывался. Тогда он хохотал и шлепал ладошками по кроватке.

Федя меня тоже постоянно развлекал. Однажды, например, увидел фотографию лимона на обложке журнала «Юный натуралист». Лимон был большой, красивый, желтый. Федя все

пытался его схватить. Он и гладил картинку, и ногтями царапал, и заглядывал под журнал. Пока полностью не измочалил обложку и тогда виновато развел руками.

Я смеялся и говорил ему:

– Эх, Федя-Федя, какой же ты дурень!

А он, видя, как я веселюсь, тут же сам начинал заливаться.

И вообще у меня никак не получалось его постоянно не тискать. У Феди были толстые щеки, огромные карие глаза, и сам он был упругий, словно мячик. А главное – Федя был веселый. Даже не скажешь, что он чем-то серьезным болел. Еще он был хоть и маленьким, но терпеливым. И когда ему делали уколы, лишь минутку-другую плакал и сразу успокаивался. Мне стало неудобно при нем показывать боль, и всякий раз я делано улыбался, демонстрируя, какая ерунда эти уколы, хотя к тому времени я уже просто в решето превратился.

У меня ни младших братьев, ни сестер, но с Федей я как-то быстро принооровился. Стоило одной из няnek показать, как его нужно кормить, и мы стали управляться без нее. К тому же няньки вечно куда-то торопились, закидывая Феде по десять ложек в секунду. А нам спешить было некуда. Кормить Федю оказалось одно удовольствие. Он отличался отменным аппетитом, послушно открывал рот и смешно чмокал.

После еды я мыл ему физиономию, а он в этот момент высовывал язык, лизал мою мокрую ладонь, и мне было щекотно. А ночью, когда Федя спал, я по несколько раз вставал, подходил к нему, поправлял подушку и накрывал одеялом.

Я даже пеленать его научился. Няньки к нам заходили редко, поэтому первое время Федя почти всегда был мокрый. Я караулил няnek у дверей в бокс, когда те проносились по коридору будто курьерский поезд. У них всегда были какие-то неотложные дела. Няньки были очень недовольны, и всякий раз какая-нибудь из них злобно ворчала:

– Здоровый лоб! Давно бы уже сам научился!

Наверняка в свои двенадцать я им казался ленивым бугаем, симулянтом.

И как-то раз я сказал:

– Хорошо, научите!

Нянька немного смутилась, но я повторил. Тогда она вдруг перестала торопиться и, невероятно воодушевившись, начала мне показывать, как нужно Федю мыть под краном в нашей ванной, как сушить, присыпать и мастерить из пеленки подгузник. Затем она притащила изрядный запас пеленок и с легким сердцем отправилась по своим делам.

Врать не буду, идеальной няньки из меня не получилось, зато с тех пор Федя был всегда сухой и чистый.

Однажды за занятием этим меня застукали его родители. Посещения в боксе были запрещены, вот они час бегали вокруг корпуса, искали, где лежит Федя, приспособили какой-то ящик, чтобы заглянуть в наше наполовину закрашенное окно. А так как стены в боксе даже в ванной стеклянные, они увидели, как я Федю мою, вытираю его, колдую с пеленками. Их так это впечатлило, что в следующий свой приезд они попросили открыть фрамугу и закинули мне шоколадку.

Они стали приезжать часто, я им всякий раз подробно сообщал, как Федя себя чувствует, как он кушает, как играет, есть ли у него температура. Брал его на руки и подносил к окну. Фекина мама тут же плакала, а папа смеялся. И хотя он был молодой, зубов у него было немногим больше, чем у самого Феди. А Федя обнимал меня за шею ручонками, смотрел на папу с мамой, отчаянно веселился и крутил головой.

А потом Федю взяли и выписали. Мы только позавтракали, как тут неожиданно появилась нянька с каким-то тюком, в секунду облачила Федю в домашнюю одежду, надела сверху шубку и унесла. Его так несколько раз забирали в другой корпус на исследования, а тут оказалось, что домой. Я ему даже «до свидания» сказать не успел.

Весь день, до самого вечера мне не читалось, не лежалось, я бесцельно бродил по палате, смотрел в окно, в который раз все перелистывал изодранный «Юный натуралист».

Федя стал самым близким моим другом за эти полтора месяца. А мне даже попрощаться с ним не дали. И теперь, когда я остался один, то почувствовал, как же мне его не хватает. Некого кормить, некого развлекать, не с кем разговаривать, некого щипать за щеки.

Видимо от тоски, на второй день у меня начался рецидив. Озабоченные врачи прибегали, слушали своими трубками, качали головами. Меня отвезли на рентген и поставили капельницу. Опять стали колоть четыре раза в день. К тому же я вдруг непонятно зачем потребовал, чтобы кололи не в задницу, а в ноги – они и без того были тонкие как спички, а я еще и похудел.

Очень скоро у меня едва получалось доковылять до ванной, к концу недели ноги совсем перестали меня держать, их постоянно сводило, а болели они так, что терпеть не было никаких сил.

И когда пришло время очередных вечерних уколов, я сдался. Мало того что я подставил под шприц задницу, я еще пожаловался на эту нестерпимую боль. Мне уже не перед кем было изображать стойкость.

Ночная медсестра, совсем молоденькая, оказалась девушкой душевной, недаром она мне больше всех здесь нравилась. Тут же нарисовала мне йодом сетку, пообещав грелку перед сном. И действительно, через полчаса принесла. Она погасила верхний свет, включила ночник, присела на свободную койку и принялась линовать какие-то бумаги, разложив их перед собой.

Я лежал, смотрел на нее, прикрыв глаза, она сидела и что-то писала, свет лампы падал ей на лицо, на белый колпак, было хорошо и уютно, от грелки шло приятное тепло, боль отступила. Очень хотелось, чтобы она посидела так подольше. Было странно тихо, даже столь обычный здесь детский плач не доносился из коридора.

Я почти заснул, когда дверь приоткрылась и другая медсестра бесшумно вошла внутрь. Тоже молодая, ну может чуть старше той. Они всегда работали в одну смену.

– Вот ты где! – произнесла она шепотом. – А то я тебя обыскала. Пойдем, вроде все спокойно, я уж и чай заварила.

Они думали, что я сплю, но я смотрел на них сквозь ресницы.

– Да у меня сводка на единичку не сходится, – с досадой сказала подружка. – Всю голову себе сломала.

– Ну-ка давай посмотрим, – попросила та и, подойдя ближе, склонилась над бумагами, – что у тебя там за единичка.

И через полминуты, довольная собой, сообщила:

– Смотри! Сорок пять было, шестеро поступили, трое выписались, двое переведены, один умер. Сорок пять и осталось. Вот.

Первая стукнула себя ладонью по лбу:

– Точно, умер же один!

– Ну все, пошли чай пить, – сказала вторая.

И они обе вышли, стараясь не шуметь, только стекло в двери несильно задрожало.

Кровь застучала в висках, и тут же заболело в солнечном сплетении. Умер??? Ведь здесь кроме меня почти все малыши. Малыши ведь не могут умирать в больнице. Их тут лечат, кругом врачи, медсестры. Как же они позволили этому случиться?

А ведь у этого малыша мама с папой. Те, что любили его больше всех на свете, сказки рассказывали, книжки читали, про репку, про Карлсона. И когда он заболел, наверняка они места себе не находили, бегали вокруг корпуса, в окна заглядывали. Как они теперь жить будут?

А эти двое сейчас говорили о смерти ребенка так буднично, так равнодушно. Они ведь добрые были всегда, хорошие. Что с ними вдруг произошло, если они могут сейчас чай пить? Да они переживать должны, плакать! А их лишь цифры в сводках занимают. Сидят, склады-

вают, вычитают! Они здесь работают, значит, уже привыкли. Но как можно привыкнуть к такому?

Ужас охватил меня, и стало трудно дышать. Я никогда раньше не задумывался о смерти. А она, оказывается, совсем близко. И это не кино, не книжка. Этот малыш умер где-то рядом, может, в соседней палате. Пока я непонятно чем занимался и ныл из-за какой-то ерундовой боли от уколов, тут рядом со мной умер ребенок.

И если бы умер я, они бы так же спокойно пошли пить чай, и мир бы не перевернулся.

Но что, если бы Федя мой? Для них и Федя тоже был бы лишь цифрой в сводке? Вот этот смешной маленький мальчик, к которому я так привязался? Как они там сказали? Единичка!!!

И тут я завыл, кусая подушку, чтобы не было слышно. Но они услышали. Прибежали, распахнули дверь, включили яркий свет.

– Ну ты чего? Неужели так ноги болят?

Вот оно, спасительное. Не говорить же им.

– Да. Болят.

– Ну подожди, сейчас мы тебе еще грелку принесем!

– Не надо, – проговорил я, глядя в стену перед собой. – Не надо больше грелку приносить. Все уже прошло.

Меня выписали перед самым Новым годом. В школу я пошел лишь в середине февраля. «Похитители бриллиантов» показались мне совсем детской книжкой. Я много занимался дома и даже умудрился не отстать ни по одному из предметов. Только с математикой у меня было не очень. Математику я так и не полюбил.

*Москва, июнь 2019*

## Сертификат с желтой полосой

Л. А.

Вернувшись из Сирии, дядя Леня первым делом решил развестись.

– Ну уж нет! – узнав об этом, сказала мама. – Больше я в нашей семье безотцовщины не допущу!

Насчет безотцовщины – она имела в виду меня.

Мама развелась годом раньше и поэтому решила встать на защиту целостности семьи младшего брата. – Люся, не переживай! Никуда он не денется! – подбадривала она жену дяди Лени. – Ленька просто давно тебя не видел! Отвык за год от дома.

Мне-то, наоборот, казалось, что разводиться стоит тогда, когда видишь тетю Люсю ежедневно.

– Представляешь, Ленька там встретил женщину! – рассказывала кому-то мама по телефону о сирийских приключениях дяди. – Она, как и Ленька, геодезист. Ее зовут Венера!

– Интересно, у нее руки на месте? – тем же вечером поинтересовался я. – У Венеры этой?

– Руки? – удивилась мама, она забыла о моем увлечении античной скульптурой. – Не знаю. Говорят, у нее ноги толстые.

У тети Люси ноги тоже были будь здоров. В далекой Сирии дядя Леня решил не изменять своим пристрастиям.

– Люся! – в очередной раз говорила мама. – Делай вид, что ничего не происходит! Нужно жить, как жили, тогда Ленька точно никуда не уйдет!

По моим наблюдениям, дядя Леня особо и не спешил. Прямо из аэропорта он прибыл в свою квартиру и вот уже вторую неделю покидать ее не собирался. Дядя Леня невероятно гордился, что именно с его балкона сняли тот вид на Крымский мост, который показывали в самом конце программы «Время», когда под красивую мелодию там шел прогноз погоды. Вряд ли у Венеры с толстыми ногами открывался такой вид из окна.

– Представляешь, у этой Венеры, оказывается, есть муж! – говорила по телефону мама. – Это очень хорошо! Надеюсь, он не даст ей развода!

Действительно, пауза затягивалась. И хотя дядя Леня продолжал настаивать, что его уход к Венере дело решенное, дни шли, но ничего не менялось. Он торчал дома и с Венерой общался лишь посредством телефона. А в один из выходных дядя Леня и тетя Люся нас с мамой пригласили в гости.

Дядя Леня с гордым видом водил нас по трем комнатам квартиры, где на всех кроватях штабелями были разложены его сирийские трофеи. Мама брала в руки многочисленные блестящие вещи с нерусскими буквами, охала и ахала. Я тоже вежливо трогал все подряд, больше всего меня поразила огромная стопка фломастеров от пола до подоконника, в каждой упаковке по двадцать четыре цвета. Таких в нашем классе не было ни у кого. На месте дяди Лени я бы подарил мне именно эти фломастеры, тем более вот у него их сколько.

Затем нас усадили за накрытый стол. Главным блюдом была югославская ветчина из большой жестяной банки. Ее недавно начали кругом продавать, и за ней сразу выстраивалась очередь.

За обедом сначала долго обсуждали эту ветчину, затем сравнивали ее с микояновским окороком, затем стали говорить про колбасу «сервелат» и буженину, а потом перешли на говядину и свинину.

То, что про еду можно говорить бесконечно, я узнал лишь недавно. Раньше, когда мы жили с отцом и его родителями – бабушкой Людой и дедушкой Яшей, там все больше говорили

про книги и фильмы. И мама тогда тоже говорила про книги и фильмы. А сейчас, видимо делая приятное дяде Лене и тете Люсе, она решила говорить исключительно про еду.

Тем временем дядя Леня принялся рассказывать, что в Сирии он каждый день ел мясо. И если перевести на наши деньги, то в день он тратил на мясо не менее трех рублей.

Мама качала головой, а тетя Люся ахала и прикладывала руку к груди. Дядя Леня, воодушевившись, продолжал, что если бы он сэкономил на еде, как остальные в их группе, то привез бы не только вдвое больше барахла, но и сертификатов для покупок в магазине «Березка».

– Зачем же так было транжирить, Ленька! – воскликнула мама. – Сдалось тебе это мясо!

Тетя Люся за спиной дяди Лени подошла к шкафу и принялась крутить пальцем у виска и капать себе в рюмку валокордин.

После чая я все ждал, что дядя Леня начнет вручать нам с мамой подарки, так всегда делал, приезжая из-за границы, старший брат моего отца дядя Вова. Но вместо этого дядя Леня уселся перед телевизором смотреть хоккей, то и дело покрикивая на маму с тетей Люсей:

– Тише, не видите разве, «Спартак» проигрывает!

Тетя Люся делала страшные глаза, зажимала ладонью рот и громким шепотом сквозь пальцы его успокаивала:

– Хорошо, хорошо, паpusик! Мы молчим, молчим, ты, главное, не волнуйся.

И, подмигивая, кивала маме. Мама кивала в ответ. Я понимал их бессловесный диалог: пусть делает что угодно, лишь бы это отвлекло его от Венеры и ее толстых ног.

В доме дяди Лени команда «Спартак» занимала второе место в разговорах после еды. За «Спартак» в знак солидарности болели и тетя Люся, и их сын Денис. Они даже знали по именам и по номерам всех игроков, и мне было неловко перед ними за свое невежество. Ничего, я тоже со временем все буду знать. Просто раньше мы ни о чем таком не говорили, а дед Яша и баба Люда наверняка ни о каком «Спартаке» и не слышали, ну кроме романа Джованьоли и балета Хачатуряна.

– Люся, я поняла, как удержатъ Леньку! – торжественно произнесла мама на кухне. Тетя Люся мыла посуду, а мама вытирала. – Надо постоянно напоминать, что у него есть семья! Вот что я придумала! Давай Алешка будет к вам заезжать. Пусть с Денисом в кино ходит, в музей. Ему же все равно делать нечего.

Никто даже не думал поинтересоваться, как мне такое предложение, тем более что у меня были занятия в слесарно-механическом кружке, к тому же я в школу-то добирался через пол-Москвы, но судьба моя с той минуты была решена. Мама была из тех, кто истово следовал собственным бесконечным идеям.

Правда, когда мы ехали обратно, я попытался узнать у нее, какая именно причина мешает дяде Лене почувствовать, что у него есть семья. Ладно, он нам с мамой ничего не подарил, но и своим родителям, дедушке Никите и бабушке Ане, не привез даже копеечного сувенира.

– Что ты к нему прицепился? – в своей манере оборвала меня мама. – Дай ему пожить наконец по-человечески!

Наверное, она имела в виду, что дядя Леня вечно влипал в какие-то истории. То в таежной экспедиции, где он командовал, техника застрянет в болоте, то со склада в Москве пропадут овчинные тулупы, за которые он расписался, и по этим причинам у него постоянно высчитывали деньги из зарплаты. Но мама опять повернула все так, будто именно я мешал человеческой жизни ее брата. Честно говоря, дядя Леня меня особо и не волновал. Дело было в его жене тете Люсе.

Мама по страшному секрету рассказывала, что маленькую тетю Люсю нашли подле разбомбленного эшелона в самом начале войны и вскоре ее удочерила одинокая портниха, женщина хмурая, сварливая и очень жадная. Спустя годы они стали так походить друг на друга как по характеру, так и внешне, что я их еле отличал, несмотря на разницу в возрасте.

С мамой тетя Люся училась в одном классе, пока ее не оставили на второй год. А уже в этом классе учился дядя Леня, который сразу влюбился в нее и ночами повадился обрывать ради нее тюльпаны на клумбах в Александровском саду под стенами Кремля.

Не было случая, чтобы тетя Люся не сказала гадость про маму, про дедушку Никиту и бабушку Аню. Но делала она это только тогда, когда те ее не слышали. Меня она никогда не стеснялась, уверенная, что по малолетству я ничего не понимаю.

Придет, бывало, на бабушкин день рождения – я тогда еще карапузом был, – и давай тосты произносить:

– Анна Ивановна, вы мне второй матерью стали, дай бог вам здоровья, живите до ста лет!

Потом подхватит стопку грязной посуды и на кухню отправляется. Грохнет там эти тарелки на стол:

– Да сколько ты будешь тут небо коптить, ведьма старая! Давно пора уж жилплощадь освобождать!

Подарит мама Денису ко дню рождения красивый костюмчик, тетя Люся благодарит, чуть ли не поклоны бьет:

– Татьяна, вот спасибо так спасибо! И где ты только достала такую прелесть! Денисик теперь как принц у меня будет.

Зайдет в комнату, швырнет этот костюмчик на диван и сквозь зубы процедит:

– Могла бы единственному племяннику и денежку положить в придачу, уж не обеднела бы!

Но больше всего тетя Люсе не нравилось, когда дедушка Никита при ней радовался моим успехам.

Дед Никита был человеком простодушным. Из двух своих внуков он явно выделял меня и даже не собирался этого скрывать. Наверное потому, что мама была его любимицей, а может, и потому, что Денис, невероятный жмот и врунишка, был точной копией тети Люси.

Однажды, когда дед Никита принялся рассказывать, что я в свои четыре года могу прочитать любой текст в газете или книге, тетя Люся выскочила из-за стола, схватила Дениса за руку и поволокла за собой прочь. Она даже дверь на лестницу за собой не стала закрывать, вылетев из квартиры как ошпаренная.

– Только и может, что своим дитенком хвастаться! – услышал я ее голос уже с первого этажа. – Ничего, Денисик, ничего, мой сладкий, и ты будешь у меня читать не хуже, чем этот.

Она сказала вроде не «дитенком», а какое-то другое слово, я не расслышал, какое именно, но было понятно, что слово, скорее всего, обидное, вот почему я это тогда запомнил.

И я был уверен, что тетя Люся уж точно не будет рада моим приездам, чего доброго, и на порог меня не пустит. Но беспокойство мое было напрасным.

При первом же моем появлении она просто светилась от счастья.

– Леня, Леня! – закричала она, лишь я показался в дверях. – Смотри, кто к нам приехал! Алешечка приехал!

Я еще копался у вешалки, а тетя Люся уже призывала:

– Алешечка! Проходи в комнату, поешь с дороги!

А когда я сидел за столом, она все хлопотала, накладывая мне лучшие куски, и приговаривала:

– Вот, Алешечка, чаек, вот кофеек, ветчинка! Конфетки бери, вареньице не забывай да маслом хлебушек мажь, не стесняйся!

Оказалось, что тетя Люся вовсе не злая и жадная, а, наоборот, добрая и щедрая и меня любит, да и маму мою. А что она меня назвала каким-то там «дитенком», так это было давным-давно, тут дедушка Никита сам виноват, не надо было ему при Денисе меня хвалить, это невежливо. А потом, у нее жизнь вот такая нелегкая, с самого детства. Эшелон, где она ехала,

разбомбили, на второй год в школе оставили, а теперь дядя Леня и вовсе собрался от нее к Венере уходить.

И даже ее приемная мать, старуха-портниха, не ворчала, по своему обыкновению, что им самим нечего есть, что впору на паперти стоять, а не гостей принимать, и хоть и поглядывала неодобрительно, но сидела молча.

Вот так я стал проводить время с Денисом, как велела мама. Мы с ним начали с кино и пересмотрели бесчисленное количество фильмов. Фильмы были отличные, и «Москва – Кассиопея», и «Отроки во Вселенной», и «Земля Санникова». Но больше всего мне понравились комедия «Великолепный», от которой я смеялся так, что начал икать, и румынский фильм «Взрыв» про пожар на корабле с грузом селитры на борту.

Во время фильмов Денис часто задибался к парням, что сидели рядом, обещая разобратся с ними после сеанса. Если они поджидали нас на выходе, он радостно объявлял, подталкивая меня вперед:

– Сейчас будете драться с моим старшим братом!

Таким образом досуг культурный у нас сочетался со спортивными состязаниями. Еще я пробовал таскать Дениса по музеям, но если в Зоологическом, как и в Дарвиновском, он еще проявлял хоть какой-то интерес, то в моем любимом – изобразительных искусств на Волхонке, Денис явно зевал и маялся от скуки. А больше всего ему по душе пришелся музей Вооруженных Сил. Я как-то вдруг догадался, что его нужно вести именно туда, и не ошибся.

Тетя Люся неизменно была мила и любезна и постоянно снабжала маму отчетами – как обстоят дела на семейном фронте, каким замечательным братом для Денисика я оказался, как я его развиваю, – не забывая сообщать главное – что происходит между дядей Леной и Венерой. И по всему выходило, что телефонные звонки разлучнице хоть и продолжаются, но интенсивность переговоров с каждой неделей явно ослабевает. Мама была довольна, все шло по плану, поэтому она выделяла мне средства на развлечения с завидным постоянством. Денег и так было полно, а тут еще дед Никита, решив стимулировать мой интерес к учебе, стал выдавать мне за каждую пятерку в дневнике ни много ни мало – целый рубль. Деваться некуда – я принялся зарабатывать нешуточные капиталы, став через месяц круглым отличником по всем предметам от физкультуры до природоведения.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.